

Безбожный переулоч

Автор:

Марина Степнова

Безбожный переулоч

Марина Львовна Степнова

Марина Степнова – автор громко прозвучавшего романа «Женщины Лазаря» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА», переведен на многие европейские языки), романа «Хирург», серии отменных рассказов, написанных для журнала «Сноб».

Главный герой новой книги «Безбожный переулоч» Иван Огарев с детства старался выстроить свою жизнь вопреки – родителям, привычному укладу пусть и столичной, но окраины, заданным обстоятельствам: школа-армия-работа. Трагический случай подталкивает к выбору профессии – он становится врачом. Только снова все как у многих: мединститут – частная клиника – преданная жена... Огарев принимает условия игры взрослого человека, но... жизнь опять преподносит ему неожиданное – любовь к странной девушке, для которой главное – свобода от всего и вся, в том числе и от самой жизни...

Марина Львовна Степнова

Безбожный переулоч

Роман

Глава 1

От Мали осталась только баклева.

Никто не знал, что это такое. Но вкусно.

Сто грецких орехов (дорого, конечно, но ничего не поделаешь – праздник) прокрутить через мясорубку. Железная, тяжеленная, на табуретке от нее предательская вмятина, ручка прокручивается с хищным хрустом, отдающим до самого плеча. Когда делаешь мясо на фарш, разбирать приходится минимум трижды. Жилы, намотавшиеся на пыточные ножи. Но орехи идут хорошо. Быстро.

Калорийных булочек за девять копеек – две с половиной.

Смуглые, почти квадратные, склеенные толстенькими боками. Темно-коричневая лаковая спинка. Если за 10 копеек, то с изюмом. Ненужную половинку – в рот, но не сразу, а нежничая, отщипывая по чуть-чуть. Некоторые еще любят со сливочным маслом, но это уже явно лишнее. Смерть сосудам. На кухню приходит кошка, переполненная своими странными пищевыми аддикциями (зеленый горошек, ромашковый чай, как-то выпила тайком рюмку портвейна, наутро тяжело страдала). Почуввав изюм, орет требовательно, как болотный оппозиционер. Приходится делиться – но ничего, без изюма калорийные булочки даже вкуснее. Теперь таких больше не делают, а жаль. И кошка давно умерла.

Булочки надо перетереть руками, поэтому важно, чтобы были вчерашние, чуть подсохшие. Еще важнее не забыть и не слопать их с утра с чаем. Потому в хлебницу их, подальше, подальше от греха. Чревообъедение, любоддеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Святитель Игнатий Брянчанинов. Бряцающий щит и меч святости. Прости мя, Господи, ибо аз есмь червь, аз есмь скот, а не человек, поношение человеков. Приятно познакомиться. Мне тоже. Протестанты, кстати, заменяют уныние ленью – и это многое объясняет. Очень многое. Ибо христианин, которому запрещено унывать, не брат христианину, которому запрещено бездельничать. И перерезанных, замученных, забитых во имя этого – легион.

Аминь.

Конечно, булочки – это условность. Позднейшая выдумка. Чужие каляки-маляки поверх строгого канонического текста. Маргиналии на полях. Изначально был

только мед, грецкие орехи, анисовые семена. Мускатный орех. Булочки приبلудились в изгнании, да и не булочки, конечно, – хлеб. Вечная беднота. В ДНК проросший страх перед голодом. Супермаркеты Средиземноморья до сих пор полны сухарями всех видов и мастей. Рачительные крестьяне. Доедаем все, смахиваем в черствую ладонь даже самую малую крошку. А эти и вовсе были беженцы без малейшей надежды на подаяние. Какие уж тут булочки? Ссыпали в начинку все объедки, которые сумели выпросить или найти. Радовались будущему празднику. Готовились. Волновались.

Это мама придумала добавлять булочки? Мамина мама, может быть? Она говорила? Ты помнишь?

Смотрит в сторону. Ничего не говорит. Опять.

Ладно. Тогда варенье из роз.

Когда-то достать было невозможно в принципе. Только обзавестись южной родней, испортить себе кровь и нервы всеми этими хлопотливыми мансами, истощными ссорами навек, ликующими воплями, внезапными приездами всем кагалом или аулом (в понедельник, без предупреждения, в шесть тридцать утра). А Жужуночка наша замуж вышла, ты же помнишь Жужуну? Не помню и знать не хочу! Но вот из привезенного тряпья, из лопающихся чемоданов с ласковым лопотанием извлекается заветная баночка. Перетертые с сахаром розовые лепестки. Гладкая, едкая горечь. Вкус и аромат женщины. Но неужели нельзя было просто посылкой, божежтымой?!

Варенья из роз нужна столовая ложка – не больше, потому что...

Черт. Телефон.

Да, здравствуйте. Нет, вы поняли совершенно неправильно. В вашем случае уместнее три миллиона единиц, а не полтора. Нету? Значит, придется два раза по полтора. Сами знаете куда. Сочувствую.

Да. До свидания.

Итак, розы. Надо сразу признаться, что никакой южной крови и родни у меня нету. Я настолько русский, что это даже неприятно. Чистый спирт, ни на что совершенно не употребимый. Даже на дезинфекцию. Чтобы выпить или обработать рану, придется разбавить живой водой. Иначе сожжешь все к чертовой матери. В девяностошестипроцентной своей ипостаси спирт годен разве что для стерилизации. Неприятно осознавать себя стерильным. Неприятно осознавать себя вообще. Хоть капля другой крови придала бы моей жизни совсем другой смысл. Но – нет.

Позвольте представиться – Огарев Иван Сергеевич.

Нет, не родственник того и не товарищ – этого.

Иван Сергеевич – тоже всего лишь пустая реминисценция.

Я врач.

Всего-навсего врач.

* * *

Еще в баклеву кладут вишню. Вернее, вишневое варенье, и тоже особое – без косточек и без сиропа, практически сухие, темные, гладкие ягоды, плотно заполнившие литровую банку. Одна к одной. Косточки вынимали шпилькой. Помните, были такие? Изогнутая английской буквой U проволочка, чуть волнистая, с крошечными шариками на острых концах – чтобы не поранить тонкую кожу. Вскинутые локти, быстрые движения слепых пальцев, укладывающих на затылке узел, птичий наклон головы. Коса. Пробор. Завитки у низкого нежного лба и сзади, на шее. Быстрый невнятный вопрос сквозь смеющиеся, стиснутые в зубах шпильки. Прекраснее женщины, которая поправляет прическу, только женщина, в которую ты влюблен. Как жаль, что они все стригутся теперь, дурочки.

У Мали были длинные волосы. Сама Маля – была.

Чистить вишни долго – кропотливая работа, лучше вдвоем, а то и втроем – и все равно перепачкаешься по уши, сок потом не вывести ничем, уйди, не вертись без

конца среди женщин, ты же мальчик, как это ничем, дорогая, если отлично выводится? Ну, знаешь, берешь пол чайной ложки лимонки...

Я брежу, то и дело оглядываясь и нарочно волоча ноги, загребая сандалиями песок, сухую хвою, липкие невидимые призраки будущих маслят – чужая подмосковная дача, хрупкие деревянные стропила прошедшего детства.

Я – мальчик. Меня – выгоняют. Мне – отказывают.

Я уже понимаю, что это – трагедия, но еще не догадываюсь, что так будет всегда.

Выпотрошенные вишни кладут в таз – большой, медный, с деревянной ручкой – и варят по новой для Агафьи Михайловны методе, без прибавления воды. Помните, в «Анне Карениной»? Да нет, откуда вам помнить... Женское общество на террасе, шитье распашонок, вязание свивальников. Беременная Кити. Анковский пирог. Лимоны, сливочное масло, ненависть – прямо с погреба, похолоднее. Знал ли бедный Николай Богданович Анке, милейший доктор, профессор Московского университета по кафедре фармакологии, общей терапии и токсикологии, тайный советник, род. в Москве, в купеческой семье, 6 декабря 1803 г., ум. в том же городе 17 декабря 1872 г., что пирог по его рецепту обретет такое страшное бессмертие? Любовь Александровна, в девичестве – о, эта музыка незаконнорожденной страсти! – Иславина, в замужестве – о, эта черствая проза супружества! – Берс. Дражайшая и вечно беременная супруга Андрея Евстафьевича Берса, тоже врача.

Коллеги. Ядовитое братство.

Ваша точка зрения не выдерживает никакой критики, батенька. Ваша практика – заноза в моей заднице. Ваш успех – результат прискорбной глупости публики, доверяющей самое ценное, что у нее есть, – собственное здоровье – невежественным шарлатанам. Вы прескверный диагност. Но когда настанет ваша очередь умирать, принимать мелкими глотками (до, и после, и вместо еды) свою порцию земных страданий – мы все соберемся у вашего скорбного одра, все, все до одного, и, сдвинув лысые лбы и потрепанные крылья, будем лечить самоотверженно, истово, ни на что не надеясь, и все-таки молясь, и не беря платы, нет, нет, со своих мы mzды не берем, за своих стоим на коленях бесплатно, потому что нас и так слишком мало, ничтожно мало, настоящих,

избранных жрецов истинного бога. Врачей.

Тридцать минут. Тридцать пять.

Качайте вы, коллега, я больше не могу.

Сломанные во имя ускользающей жизни ребра. Замершее сердце. Черные круги. Ледяной пот вдоль спины. Терапия отчаяния. Никаких признаков жизнедеятельности. Мозг умер, когда мы еще и не начинали.

Все равно качайте!

Поздно. Умер.

Поджарен на вертеле за неверный диагноз, убит осатанелой невежественной толпой, отравлен выпитым залпом холерным вибрионом, заражен пациентом, выжжен дотла, забит холестериновыми бляшками, изрезан, истерт до дыр непосильной ответственностью.

Служил, как медный котелок, – пока не прохудился.

Нимбы долой, коллеги! Не стало еще одного врача.

Черт, ну куда же меня опять занесло? Простите.

Итак, Николай Богданович Анке. Анковский пирог. Рецепт, продиктованный Любви Александровне Берс, теще Толстого (Льва Николаевича, разумеется, два других не в счет). Записывала, высунув от усердия черный язык. Что у вас такое с языком, Любочка? Уголь. Березовый уголь. Брала серебряными щипчиками из специальной шкатулки, глотала, давясь, – скрип на зубах, антрацитовая крошка, круговорот углерода в природе, черные страдающие глаза, худоба. Когда-нибудь мы все снова будем алмазами. Через миллион или более лет. А почему же уголь-то, что за странные пристрастия? Восемь детей. Старый любвеобильный муж. Токсикоз. Бесконечный токсикоз. Уголь – всего лишь тихий вариант ненормы, другие на сносях уписывают сырую штукатурку, ломкие карандашные грифели, даже глину. Мать как-то призналась, что, когда ждала меня, ела мыло – глицериновое, полупрозрачное, зеленое, как бутылочное стекло. Один-

единственный, почти круглый, обкатанный, как голыш, кусок. Чей-то подарок. Импортное. Эра всеобщего дефицита. Экономила так, чтобы хватило на весь срок. Скребла, нежно нажимая, передними зубами. По-мышьиному точила. Завязывала что-то внутри себя, строительствовала, порождала. Интересно, на что пошло это мыло, что из него стало мной? Кровеносные токи? Костяк? Душа, мыльная, неверная, солоноватая на вкус?

Когда б вы знали, из какого сора.

Варенье для баклевы – то, что из «Анны Карениной», без воды, – тоже готовится по анковскому рецепту.

Вы не любите Толстого?

Вы ненормальный.

* * *

Мама варила совсем другое варенье – хотя тоже из вишни, кислой, подмосковной. Владимирская, шесть рублей ведро. Красная приторная жижа с редкими ягодами закатывалась в литровые и полулитровые банки. Это на зиму, не хватай! Мне доставались только пенки. Розовые, ноздреватые, словно стремительно застывающая мягкая пемза. Помните? Как они будут лизать это с чаем! Отец предлагал дождаться ужина, не жадничать – ну что ты за свиненок, в конце концов? Иди вымой руки, лентяй. Никогда ничего путного из тебя не выйдет. Приходил с работы, долго сидел в спальне в спущенных по щиколотки штанах, смотрел в стену, переживая какие-то свои взрослые, невиданные, неведомые неудачи. Потом шел на кухню и ел гречневую кашу, граненую, гнедую, прикусывая вместо хлеба кругляшом розовой докторской колбасы. Мне такого не давали. То есть давали, конечно, – но колбасу нельзя было есть как хлеб. И вместо хлеба тоже. Только – вместе. Считанные игрушки, потрепанные книжки, брюки, из которых я выросал прежде, чем очередная полочка добиралась до заветного кассового оконца отцовского завода.

Аскетический, выверенный инструментарий советского детства.

Ты уроки сделал?

Нет еще.

Ну что ты за лодырь, а! Непонятно только в кого. А хлеба купил?

Я стоял столбом, ожидая выдачи мелочи, – скомканная в кулаке авоська, ссаженные коленки, растоптанные бурые босоножки из «Детского мира». Слишком маленький и жалкий, чтобы протестовать.

Чего ждешь? Де-е-енег? С деньгами любой дурак может. А ты без денег купи. Рева-корова.

Зачем он так делал? Воспитывал мне характер? Пожинал судьбу?

Страшно даже сказать, как я его ненавидел.

И ничего. Ничего не изменилось до сих пор.

* * *

Орехи смешиваем с перетертыми булками. Добавляем два стакана сахара и полстакана масла. Нужно оливковое, конечно, но кто тогда о нем слышал? Потому – подсолнечное. Продавалось в стеклянных бутылках. Стоило рубль пять. Нет, это у вас, может, девяносто девять копеек. У нас, на углу, в продмаге, – рубль пять. Прохладные гипсовые своды, монументальные мраморные бюсты продавщиц. Слишком величественные, чтобы скандалить. Матроны. Сначала к прилавку, потом в кассу, пробить, потом – снова к прилавку. Челночное снование. Половинку черного и белый. Масла крестьянского – двести грамм. Пересчитать сдачу дважды – не отходя от кассы. Денег, как только я пошел в школу, вдруг стало в обрез – родительские получки и авансы никак не сходились, словно в натальной карте начинающего астролога-шарлатана. Даже копеечные советские цены не спасали мать от унижительных бесконечных расчетов. Я тоже отлично управлялся с тяжеловооруженными карманами – десюнчики, двушки, редко-редко – увесистый полтинник. Блаженны не умеющие считать, ибо они живут в земном достатке и думать не думают про царствие небесное. Сами лезьте в свои игольные уши. А нас и тут неплохо кормят.

Мелочь сначала долго копилась в коричневой банке из-под индийского кофе с грудастой грустной гурией на жестяном боку. Дорого. Кто-то когда-то угостил. Пили по большим праздникам, деликатно добавляя в чашку сгущенного молока. Потом праздники кончились, но банка осталась – как символ, как напоминание, стала временным пристанищем для мелких монет. Как можно было выкинуть такое сокровище? Мать даже целлофановые мешочки простирывала в мыльной воде и сушила, долго-долго, жирные, увешанные тяжелыми каплями. В приличных домах копили десятикопеечные монеты, звонко бросали в бутылку из-под советского шампанского, наблюдали сквозь толстую стеклянную зелень, как поднимается уровень достатка и самоуважения.

У самых терпеливых набиралось до горлышка – сто рублей.

Мы о таком и не мечтали.

Банка из-под кофе никогда не наполнялась даже наполовину. Мать то и дело ныряла туда, виновато качала головой. Ладно. Масло не бери, сынок. Обойдемся. Только кефир. Отец до хозяйства не снисходил никогда. Вообще не снисходил до их бедности, необъяснимой, странной, как проклятие. А ведь, кажется, был шишкой на своем заводе – инженер, потом (правда, недолго) даже главный инженер. Должен был прилично зарабатывать.

Так что, несмотря на всеобщее изобилие, мы жили бедно. Нет, неправильно – мы жили бедно и плохо. Мама молчала. Отец раздражался. Я рос. Пирогов в доме тоже не было – разве что столовские, из чана, пончики с повидлом. По четыре копейки. Резиновое тесто. Плевков буроватой начинки. Промасленная бумажка, сквозь которую можно было читать – как сквозь невиданную невидимую слюду. Способ превратить даже самый пустяковый текст в истинную драгоценность.

Итак, орехи, два стакана сахара, перетертые булочки, полстакана растительного масла, одно яйцо. Тщательно смешиваем. Добавляем вишни и варенье из роз. Перемешиваем еще раз – сначала ложкой, потом не верящими своему счастью руками. Рыхлая сладкая россыпь. Чуть слипается под пальцами. Удержаться и не облизать практически невозможно. Когда-то, я уже, кажется, говорил, вместо вишен добавляли сухие апельсиновые корочки, вместо варенья из роз – анис и мускатный орех. Говорливая ясноглазая женщина смеялась, отламывала кусочек, украдкой совала в рот перепачканным, вечно голодным детям – вперемешку своим и чужим. И солнце, протиснувшись сквозь перепутанные тесные крыши, так же без разбору гладило всех по горячим макушкам.

Что там осталось? Тесто. Не стоит даже записывать. Самое простое. Яйцо, немного муки, гладкое зеленое масло в ладони, сложенной лодочкой. Белое вино из тяжелой бутылки, нагревшейся за весь день. Щепотка соды в еще сладких неловких пальцах. Раскатать тонким слоем, закрутить в рулет, поместить поближе к сердцу – туда, где самый ровный жар, самая сильная боль, самая темная спелость. Держать, пока не подрумянится.

Знать, что никогда не отпустит. Не пройдет. Никогда не зачерствеет, только и будет неделю за неделей, год за годом медленно высыхать, не теряя ни молекулы сладости, ни грана горя. А потом снова появятся ясноглазая женщина, смуглые дети, и солнце, которому нет больше равных нигде на земле, перепутает лапой твои волосы.

Это никогда не пройдет, Маля.

Ты же знаешь. Всегда знала. Это будет всегда.

Вы думаете, я умею готовить? Нет, не умею.

Ничего, кроме этой самой баклевы.

Глава 2

Даже маленького его называли – Иван. Никогда по-другому. Иван-болван, принеси стакан, подай лимон, пшел вон! Отвратительно. Воспитывали настоящего человека. Вернее, воспитывал отец, начиная его, как рождественского гуся, тем, что сам считал разумным и съедобным. Мать все больше молчала. Была никто – тонкая, белесая. И квартира вокруг нее тихо зарастала тонкой, белесой пылью. Мать проводила по ней пальцем – вела по полировке яркую полосу, коричневую, жидкую, как будто живую. Потом роняла руку, словно уставала, оставив на серванте не то недописанную букву, не то тайный неведомый знак.

Все напрасно.

Все и правда было напрасно – убираться, шевелиться, жить.

Квартира (трехкомнатная, крепкая, светлая, как сам отец) половиной окон тарасилась на железнодорожную ветку. И то ночью, то днем, но почему-то всегда неожиданно, вскрикивали, приближаясь, поезда – отчаянно, будто раненые. Мать вздрагивала, словно ненадолго просыпалась, и снова недоуменно смолкала – и снаружи и внутри. Одна из комнат, самая большая, была отцовская – целиком. Его кабинет. Смешно. Когда отец работал (над чем? зачем?), в квартире воцарялась осторожная тишина – хрупкая, ненадежная, как елочная игрушка. Мать ходила на цыпочках, чуточку приседая, шикала на сына, на поезда, даже на чайник, неосторожно вскипевший на плите. Чаю, Сереженька? Кабинетная дверь молчала. Мать со вздохом уносила поднос на кухню, ставила, стараясь не звякнуть, на стол. Чашка, блюдце, костяной, неизвестно как приبلудившийся к дому фарфор. Только для отца. Все остальные пили из фаянсовых. Сахарница. Розетка с тем самым вишневым вареньем, похожая на медленно запекающуюся рану. Веером, как карты, выложенное на блюдце «Юбилейное». Мать говорила – печеньеце. Хочешь печеньеце, сынок? Ловила Огарева, маленького, неловкого, за руку, прижимала к себе. Чш-ш! Не шуми, пожалуйста. Папа работает.

Черт знает, чем он там занимался. Обыкновенный заводской инженер.

Страдал? Мыслил? Изобретал?

Кроме отца в кабинете жили предметы столь же таинственные и неодушевленные. В одном углу – гири, в другом – письменный стол, совершенно пустой. Над столом висела фотография – черно-белая, волнистая, прикрепленная прямо к обоям обычными чертежными кнопками. Одна – с пятнышком ржавчины. На фотографии была степь. Просто степь – голая, унылая, прочерченная посередине такой же голой и унылой дорогой, уводящей взгляд за невидимый горизонт. Упражнение на перспективу. Смотрел, должно быть, часами. Думал. Вспоминал. Что это была за степь? Зачем он держал ее перед глазами? Пап, а что это? Отстранял на ходу, не замечая, как будто назойливую ветку. Шел дальше. Еще в кабинете ютилась кушетка, немолодая, некрасивая, стыдливо пытающаяся натянуть на себя плед в черно-белую пушистую клетку. Может, отец тут просто спал? Давил, как говорили в армии, на массу.

Никто не знал. Спрашивать было бесполезно.

Огареву в кабинет входить строго воспрещалось. Отцовские запреты пересекали мир под самыми разными, порой невысказанными углами – словно красные лазерные нити фантастической охранной системы. Шевельнешься, заденешь невидимый острый волосок, и сразу завоет со всех сторон, закричит, стеганет коротко и страшно – открытой ладонью. Детей было принято бить – все еще принято, в наказание, в угождение пращурам, в назидание потомкам. Девочкам полагалось определенное послабление – первая половая льгота, одна из многих. Их особо не лупили, то ли правда жалели, то ли оставляли это право будущему мужу – на сладкое, на потом. Огарев был мальчик. Всего несколько сотен лет назад отец вообще мог его убить. Имел полное право. Искореняя порок. Насаждая добродетель.

Кто не ужаснулся бы при мысли о необходимости повторить свое детство и не предпочел бы лучше умереть?

Блаженный Августин.

Так что Огареву, можно сказать, повезло.

Отпустив оплеуху, отец наклонялся – крепкие скулы, заштрихованные темной щетиной, прямой нос, пушистые, словно у девчонки, брови. Соболиные. Красивый, как с плаката. Спрашивал – понял за что? Проще было кивнуть, согласиться, прыгнуть, зажмурившись, через очередной горящий обруч. Иначе вслед за пощечиной следовала мораль. Отец ставил его между коленок, не дернешься, не пикнешь – на меня смотри, я сказал! глаза не отводи! – и кратенько, минут на сорок, заводил про ответственность, долг, права и обязанности каждого члена, про подохнешь под забором и вот я в твои годы. Огарев молчал, насупясь, ждал, когда все закончится наконец. Терпел. Оба они, конечно, терпели. В положительное подкрепление отец не верил. Хвалить ребенка – только портить. Ты понял, что я сказал? Тогда иди. Вырастешь – спасибо мне скажешь. Огарев выворачивался из железного коленного плена, смирившийся, но не укрощенный. Вырасти! Да. Этого он точно хотел. Но только не для того, чтобы сказать спасибо.

Мать не наказывала его никогда, но никогда – как отец – и не хвалила. Была тихая, бесплотная, ласковая. Светила отцовским отраженным светом, как луна. Сереженька, ты не устал? Сереженька, ты сегодня снова допоздна? Сереженька, ужинать будешь? Огарев ревниво ввинчивался, бодал макушкой материнскую ладонь, как наголодавшийся кот, – а я, а мне! – она гладила бездумно,

рассеянно, не замечая. Отстраняла растрепанного «Доктора Айболита», протянутые кубики.

Погоди, сынок. Давай не будем мешать папе.

Работала она на почте. Сидела там через день, словно прячась, за деревянной перегородкой – так что посетители, даже перегнувшись, видели только нитку пробора и светлые волосы, кудрявые, длинные, переливчатые. Молодые. Как у артистки театра и кино. Какой цвет удивительный! Сами краситесь, АннаВанна? Или в парикмахерской?

Мать поднимала длинное лицо, бледное, словно стеариновое. Бесцветные глаза, вялый рот, мягкие бульдожьи брыла – все неумолимо стремилось вниз, оплывало. Даже в том возрасте, когда все мамы – сказочные принцессы, Огарев знал, что его мама – некрасивая. Черстное слово. Очень черстное. Мать снова сутуло склонялась над квитанциями, неуместный вопрос про краску повисал в воздухе: она не делала ни малейшей попытки хоть как-то приукрасить себя, а ведь любая дурнушка знает, что даже самых жалких усилий порой бывает достаточно, чтобы умиловать если не Бога, то хотя бы людей. Хотя бы людей.

Но – нет, ни помады, ни пудры, ни жалости к себе.

Ничего женского.

Тени для век Огарев впервые увидел вблизи, когда появилась Маля. Гладкая, словно эбонитовая, коробочка. Тихий щелчок. Зеркало. Нежные кисточки. Круглые разноцветные корытца. Как будто краски для рисования. «Нева» – помните «Неву»? Вожделенный «Ленинград». Только лучше. Если осторожно тронуть пальцем, на подушечке остается тонкая перламутровая пыльца. Как будто погладил живую бабочку. Траурница. Павлиний глаз. Капустница. Адмирал. Какой адмирал? А! Такой черно-коричневый, с рыжим? Не, мы не «адмирал» говорили – царек. Маля на секунду отрывалась от зеркала и радостно всплескивала руками. Ой, это же моя палетка! А я обыскалась. Где ты ее нашел? Он молча показывал на туалетный столик, больше похожий на перевернувшийся фургон шапито. Баночки, флакончики, тюбики, ленты. Оборванные кружева. Плюшевый рыжий кот, почти раздавленный бесчисленными бусами. Царство уменьшительно-ласкательных суффиксов. Веселый бардак. Одна из шкатулок, если откинуть крышку, давясь от стыда, голосила ламбаду. Маля смеялась и,

сунув руку в самую сердцевину пошлого мотивчика, нашаривала убежавшую сережку – а, вот ты где! Торопливо вдевала в горячую мочку, встряхивала головой. Красивая, правда? Да нет, брось назад. Куда хочешь. Все равно я вторую куда-то задевала.

Значит, вот как это называется – палетка.

У матери ничего такого не было. Она не смеялась, не красилась, даже не пахла. Не носила ни колец, ни сережек, никаких украшений. Ничего. Впрочем, отец ничего ей и не дарил. А Маля ахала восторженно – бататушки! – и часами не отлипала от витрин. Грошовые пластмассовые клипсы. Черный жемчуг в белом золоте. Самопальные доморощенные деревяшки. Все, до чего она дотрагивалась, становилось красивым. Живым. А мать в тридцать лет взяла и обрезала волосы. Коротко, даже короче, чем под мальчишку. Лицо ее, и без того безжизненное, словно захлопнулось, как у безобразных придорожных святых, охранявших когда-то все перекрестки Европы. Отец заметил только через несколько дней. Присмотрелся, поморщился, пожал плечами. Ничего не сказал. Он-то как раз был красавец – широкоплечий, рослый, с полит-зачесом, который гнедым, как у Павки Корчагина, крылом падал на широкий светлый лоб. Вообще был похож на молодого Конкина – то же правильное честное лицо хорошего парня. Настоящего героя. И настоящего говнюка.

Утром, до завтрака, он, голый по пояс, кидал в кабинете круглые гири, играл мышцами, громко хекал.

Гладкий кабанчик.

Всякий раз, когда гиря хряпала об пол, мать вздрагивала, а Огарев мечтал, что пудовая металлическая капля проломит перекрытия и полетит вниз, к соседям, круша мебель, люстры, дефицитные хрустали, соседи вызовут милицию и отца посадят – ненадолго, лет на десять, этого вполне хватит, чтобы вырасти, чтобы просто перевести дух. Но соседей внизу не было, только шмыгали среди заросших пылью и паутиной лаг бесшумные крысы. Квартира была на первом этаже. Отца, коммуниста, парохода, передовика, никто никогда не посадит. Он будет всегда.

Полная безнадежность. Самое дно.

Отец входил на кухню – полотенце на шее, потные лохмы под мышками, обвисшие треники на мощной налитой жопе. Шерсть у него на груди лежала крепким войлочным орлом. Бросал на сына быстрый презрительный взгляд – никакого снисхождения, никакой жалости, соперничали они по-взрослому. Всегда. Ну, чего уставился, хиляк? Опять отлыниваешь от зарядки? Мать суетливо снимала с плиты яичницу, скребла вилкой по чугуну, раскладывала по тарелкам. Расшарканные тапки без задников, байковый халат с карманами, в которые она мимоходом, как в помойное ведро, совала все подряд – бумажки, подобранные с пола, яблочные огрызки, грустный коммунальный сор. Она была старше отца лет на пять, а казалось, что на двадцать.

Вообще непонятно, как они умудрились пожениться. Где, когда, зачем? Маля бы сразу узнала, конечно. А Огареву даже в голову не приходило спросить. Мам, расскажи, как вы с папой познакомились? Обычный детский вопрос, уютный, вечерний, одеяло подоткнуто со всех сторон – чур, я в домике! Но мать вечером приходила всего на секунду, наклонялась не присаживаясь, торопливо клевала в лоб. Спешила в соседнюю комнату, к отцу.

Шаги, щелчок выключателя – и живая желтая полоса под закрытой дверью исчезала.

По утрам за окнами орал воробьи.

Еще в пятидесятые тут была даже не окраина – так, пара никчемных деревень, обвитых, как пуповиной, заглохшим трактом, лесок, излучина Москва-реки, заливные луга, тихие дачки. Но Москва вдруг появилась, навалилась со всех сторон, будто выпершее из кастрюли крепкое тесто, деревеньки не расселили даже, а распылили, точно сдунули с карты, и на их месте встал сперва завод, основательный, в четыре корпуса, а потом вокруг него, словно вокруг средневековой цитадели, повинуюсь, кстати, тем же мерным всечеловеческим законам, поползли, расширяя концентрические круги, сперва голосистые бараки, потом хрущевки, крепкие, кирпичные. Следом, словно привлеченная живыми людьми, как бы сама собой возникла инфраструктура, и за хрустящим этим, иностранным словом прятался все тот же древний человеческий уклад. Только вместо лавок, обжорок и торговцев снадобьями встали магазины, детсады, поликлиники – все новенькие, сахарной белизны, вкусно пахнущие снаружи и внутри прохладной сырой штукатуркой.

Ремесленный люд, сам себя уважающий, важный, зашагал вразвалку по свежим тротуарам, то и дело, впрочем, сворачивая, чтобы стоптать поперек молодого газона удобную тропинку, ведущую напрямки к автобусной остановке или монопольке. Примат разума над эстетикой. Клавк! Ты вечером в Дом культуры пойдешь? А то!

Район, выстроенный разом, разом и заселился – в основном лимитой, которая, повинувшись партии и плоти, вскоре разбилась на пары, обзавелась сперва положенным потомством, потом выстрадавшими, заработанными в прямом смысле квадратными метрами, в цехах бок о бок стояли ровесники, ровесницы толкались в очередях, играли свадьбы, со скандалами разводились, с каждым часом, с каждым шагом обтираясь, отесываясь, осваиваясь в столице. Нарожали они уже коренных москвичей. Да. Дождались.

К 1969 году, когда пришел черед появиться на свет Огареву, район уже вполне остепенился, повзрослел и обзавелся даже тоненькой жировой прослойкой собственной интеллигенции. Москва, сожрав и переварив этот ломоть земли, уползла, глухо ворча, дальше, в сторону Ленинграда. И оказалось, что до центра всего пять остановок на метро. Удобно. Близко. Хошь тебе ГУМ, хошь Кремль. И при этом до ближайшего детского садика пешком – пять минут, а школа – вот она, за углом.

Огарева даже не провожали ни в школу, ни в садик, да и никто никого не провожал – и это было лучшее время дня, совершенно свободное, особенно весной. Первый раз в этом году надетые шорты, холодок, кусающий бледные еще, зимние колени, гольфы, портфель, липкие кожурки тополиных почек. Подошвы щелкали по тротуару – свежий, радостный, тоже очень весенний звук. Лучшие воспоминания детства. Полное одиночество.

Огарев не сразу заметил, как все начало ветшать, покрываться невидимой сперва сеткой трещин, а потом вдруг стали обваливаться целые пласты. Огромные, яркие. Первыми исчезли мамыны подружки, веселые, молодые, собиравшиеся на чаек. На самом деле тишком угощались на кухне водочкой, лакомились понемногу, до красных щек, а потом пели печальными прекрасными голосами про по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. Огареву чудилась вместо казака – коза, коза молодой, с грузинским удивленным акцентом – вах! Грузины торговали на хитрушке черешней, немыслимой совершенно, красно- и черно-лаковой, по восемь рублей килограмм. Огарев стоял у прилавка подолгу, маленький, замороженный – как такую красоту можно было есть? Зимой грузины

зябли, хохлились над стеклянными коробами, похожими на аквариумы. В аквариумы переселяли сменившие черешню мандарины, и они смутно и мягко светили сквозь запотевшее стекло рыжими теплыми боками. И так же тепло сияла в каждой коробе свечка, выдыхая маленькое, праздничное, совсем человеческое тепло. Грузины грустно прятали носы в поднятые по-шпионски воротники дубленок, одними глазами, огромными, слезящимися, жаловались на чужой, невозможный мороз, но при виде каждой девушки вскидывались разом, рассыпались щедрой гортанной скороговоркой, цокали восхищенно. Коза молодой!

Подруги просто перестали приходить, и все. Дома теперь иногда пела только радиоточка, трезвая, скучная, обитающая, словно в насмешку, тоже на кухне. Потом отец встал на табуретку – потолки были высоченные даже для него – и выключил навеки. И сразу стало тихо. Очень, очень надолго.

Потом прекратились поездки летом на дачу. Прежде снимали полдома в деревне, уезжали с матерью на нанятой полуторке, с вещами, счастливые, свободные, бездельные. Или это только так казалось? Огарев сидел в огромной кабине, следил разинув рот за каждым поворотом оплетенного изолентой руля. Вот руль застрял в памяти навсегда. А все остальное – упругую струю воды из колонки, деревянный щелястый коробок сортира, сочные лопухи, в одну ночь, словно по волшебству, поспевающие вишни – вспоминал все реже и с трудом, словно совсем уже сказочные детские небылицы. Отец приезжал на дачу раз в месяц. На выходные. Копался, раздевшись по пояс, в чужом огороде, без малейших усилий втыкая в небогатую подмосковную землю лезвие штыковой лопаты. Вывернутый сырой пласт был поровну пронизан червями и корнями, одинаково бледными, слабыми, неживыми. Помнил о смерти. Огарев подсматривал из малинника, тоже бледного, подмосковного, негустого, – ягоды висели над его головой, каждая кропотливо собрана из кисловатых полупрозрачных бусин. Поймать губами, сжать, проглотить. Сделать своим.

Отец все копал и копал, неутомимый, негнибаемый, и только спина его, широкая, молодая, сияла от блестящего пота, словно лошадиная. Мать выходила на крыльцо – и смотрела тоже, долго-долго, так что Огарев физически чувствовал, как его и материнский взгляд фокусируются между отцовских лопаток, грозя прожечь крошечную нестерпимую дырку, но ничего не случилось, отец даже не оборачивался, пока мать наконец не звала тихо – Сереженька, я поесть собрала. И тогда отец втыкал лопату в никому не нужную грядку, и на рукоять ее, полированную, словно янтарную, немедленно садилась стрекоза – многогранная,

драгоценная, дрожащая, – будто ставила точку в конце трудового дня.

В доме на столе уже стояла тарелка с дымящейся темно-желтой, как будто из масла вылепленной картошкой, и отец, понюхав горбушку, тянулся пучком зеленого лука к солонке, тяжелой, хрустальной, похожей на водочную стопку, неизвестно зачем оправленную в серебро. Солонку тоже привозили с собой. Потом перестали.

Ездить на дачу.

Принимать гостей.

Праздновать Новый год.

Прежняя жизнь тихо, медленно, как загар, бледнела, сходила на нет и окончательно исчезла, когда Огарева приняли в октябрюта. Торжественная линейка, нестройное белорубашечное каре, целая пригоршня колючих звездочек, в центре каждой – Ленин. Маленький. С кудрявой головой. Огарев, пылая ушами, стоял в общем ряду и – в первый и в последний раз в своей жизни – испытывал чувство сопричастности со своим государством, очень теплое, простое и грубое, как куча-мала. Больше ему с родиной побыть единым целым так и не удалось. Жаль, конечно. Но ничего не поделаешь. Уважение может быть только взаимным.

Отец вдруг оставил его в покое и перестал дрессировать, с каким-то даже облегчением, – словно переложил всю ответственность на школу. Я сделал все что мог, пусть теперь сами разбираются. Какое-то время еще, словно по привычке, он изводил сына придирками – взрослыми, издевательскими, прицельными. Сводил какие-то тайные, страшные счета. Лучше бы, как раньше, лупил.

А потом и вовсе перестал замечать. Вообще. И его, и мать.

Мать потускнела еще больше, затихла, затаилась, будто опрокинувшийся на ладони жук. И вместе с ней потускнела квартира, прежде светлая, большая. Мать, придя с работы, опускалась бессильно перед телевизором, черно-белым, мутным, смотрела, ничего не видя, словно пыталась наполнить голову чужим, невнятным бубнежом. Огарев телевизор не любил. Скучно.

Он слонялся из комнаты в комнату, маленький, тощий, угрюмый. Можно, конечно, было выйти во двор, погонять с ребятами, но что-то разладилось и там, будто отец и правда сглазил их с матерью. Это было странное и страшное слово – сглазил. Подслушанное. Мать тихо жаловалась соседке – Огарев, ковыряя дверной косяк, слышал, как она глотает слезы, громко, неловко, будто остывший чай. Она бормотала что-то неразборчивое, жалобное, как будто даже скулила, и соседка вдруг громко присудила – толстым, сдобным голосом – да сглазили вас, это ясно. В церкву сходить надо, помолиться.

Что такое «сглазить», Огарев так и не узнал. Мать, услышав вопрос, только сморщилась, махнула рукой и пошла, пошла на кухню, машинально, словно слепая, хватаясь за стену. Детская жалость – очень короткое чувство. Почти мгновенное. Слишком много сил нужно, чтобы вырасти самому. Если бы мать ушиблась, Огарев бы заплакал вместе с ней, вместо нее, отшлепал бы неуклюжий стул или угол – у акулы боли, у волка боли, у мамочки не боли, тихий, верный заговор, подорожник, налепленный на ссадину, поцелуй, чудом останавливающий несмертельную, венозную кровь. Но что он мог в свои восемь лет сделать с настоящим взрослым отчаянием? Только забыть его мгновенно, только вытеснить, ничего не поняв. Мать еще не дошла до кухни, а Огарев уже был в любимом своем углу – между стеной и диваном, снизу – пол, сверху – спасительная тень подоконника. Он пошарил за диванной спинкой – в узкой опасной щели, почти в прорези – и вытащил книжку.

Как всегда, погладил ладонью. Зажмурился на мгновение, прежде чем открыть.

Черные большие буквы на мелованной белой обложке.

Тициан.

Бог ведь как приبلудился к дому этот толстый альбом в скользкой суперобложке. Наверно, отца наградили на заводе за какой-нибудь усовершенствованный карданный вал. Лучше бы выдали живой двадцатипятирублевик с ленинской башкой в лепных лиловых тенях. Огарев так не считал. Тициан ему нравился. Тициан был праздник – ворованный, тайный. Даная, цыганская мадонна, портрет молодой женщины. Прелестная Саломея, вскинувшая блюдо с мертвой чудовищной головой. Мягкая, лакомая нагота. Темные грустные глаза, крошечные рты, нежные шеи, складки, тающие в темноте, сулившей непонятную, но отчетливую сладость. Ямочки на щеках и

локтях. Пересохшее горло. Италия, Флоренция, Возрождение, Санта-Мария-дель-Фьоре, Санта-Кроче, Сантиссима-Аннунциата – прекрасные, ничего не значащие слова. Никакого смысла в них не было – вообще ничего, кроме света.

Отец, не вовремя вернувшийся, просто взял и затмил этот свет – в прямом и переносном смысле. Наклонился, вырвал из рук, пролистнул с хрустом. Посмотрел на Огарева так, будто оступился и вляпался рукой в чью-то теплую еще блевотину.

А не рано тебе голых баб?

И все. Никакого Тициана не стало.

Просто выкинул, должно быть. Подарить кому-нибудь вряд ли бы догадался. Это вообще было не про отца – дарить. Да и кому? Кому мог пригодиться Тициан, кто вообще мог его увидеть? Оценить?

Огарев лежал в ванне, глотая слезы – жалел себя. Это было так приятно. Быть слабым. Жалким. Бледные, сморщенные подушечки пальцев, торчащие из воды угловатые коленки. Теплая вода, теплая соль на губах, путанные, мягкие мысли. Но вода остывала – рано или поздно. Рано или поздно в дверь кто-нибудь стучал. Мать, потому что хотела замочить белье. Отец, потому что имел право. Надо было вылезать, растираться полотенцем, накрепко, докрасна – и Огарев растирался, лихорадочно соображая, что же делать. Отец словно загородил собой весь мир. Ему невозможно было понравиться, угодить – в принципе, как ни старайся. Маленьким Огарев пробовал. И не раз. Очень долго Огарев был уверен, что дело в нем самом, просто это он был такой никчемный, неловкий, плохо рисовал, падал с велосипеда, не так держал ложку – отец одним взглядом умел показать: нет, неправильно, бестолочь. Огарев торопливо перехватывал черенок – нет, снова не так. Опять. Бестолочь и есть.

Как именно правильно – отец не говорил никогда. Сам не знал, наверно. Вставал, отодвигал тарелку, уходил. Ни спасибо. Ни до свидания. Огарев едва мог припомнить, чтобы отец приласкал его, поцеловал, просто погладил по голове. Кошек же во дворе чесал – серых, вечно недовольных, ничейных. Хотя бы как кошку. Нет. Опять не дотронулся. Огарев физически ощущал, какой он свалывшийся, липкий, нескладный. Не прикоснуться. Слишком противно. Паршивый. Сам во всем виноват. Отец так и говорил. Ты сам во всем виноват.

Всегда.

Страшно подумать, какую вину волокут на себе дети, добровольно, молча, ни слова никому не говоря. Мама умерла, потому что я баловался со спичками. Папа ушел, потому что я некрасивая и плохо учусь. Ссоры родителей, иссякшая нефть, солнце, вставшее не с той стороны, хомячок, ледяным взъерошенным комком свернувшийся на дне трехлитровой банки, – нет горя, которое не взял бы на себя ребенок. Просто потому что он – ребенок. Огарев не знал, что это нужно всего-навсего перерастить. Перетерпеть – и все пройдет, забудется, как рахит, ветрянка, молочные зубы, наливные, обсыпавшие даже спину прыщи. Мир станет ясным и взрослым. Родители уменьшатся, сползут с пьедестала – даже самые лучшие займут сперва двадцать пятое место, потом – сто двадцать седьмое, окажутся слабыми, надоедливыми, никчемными, мелкими.

Такими, какие есть.

Просто людьми.

Если бы хоть кто-нибудь сказал Огареву об этом – стало бы легче. Но никто не сказал. Ему понадобились годы, чтобы понять простую и очевидную с самого начала вещь. Отец его не любил. Просто не любил, и все. Слава богу, к этому моменту Огарев уже научился отца ненавидеть.

Это было тяжелое чувство. Взрослое. Почти непосильное для ребенка.

К вечеру Огарев уставал от ненависти так, что долго не мог заснуть. Все лежал, прислушивался изо всех сил, ожидая скрипа пружин, хоть какого-то звука, свидетельства ночной родительской жизни, сначала сам не зная зачем, маленький, мягкий, потом – взрослея – с ужасом, еще позже – с надеждой. Ему казалось, что отец, там, за дверью, обижает мать, ну или хотя бы когда-нибудь обидит. Обидит видимо, несомненно. Так, чтобы можно было отомстить. Кулаки, сперва детские, жалкие, каменели, наливались ненавистью и силой, ползли по рукам, проступая, тяжелые, взрослые жилы, звенело в ушах. Пусть они там, за дверью, издадут хоть какой-то звук. Но звука не было.

Огарев вырос под этим одеялом, прислушиваясь к тишине. Стал мужчиной. Тщетно – отец так ничего и не заметил. Так и не признал в нем равного. Своего.

Даже после армии, когда Огарев мог отца просто убить. А что? Легко. Его отлично научили.

Даже после того, как мама умерла.

Так ничего и не случилось.

Родись Огарев в девяностые, он бы, несомненно, стал преступником – не мелким гопником, не шпаной, а именно преступником. Он быстро думал, ненавидел власть в любом ее проявлении и был зол на весь свет, включая самого себя. Идеальный питательный бульон для бессмысленного бунтовщика. Но советская школа, серенькая, районная, в три невысоких этажа, мигом управлялась с угрюмым подростком при помощи самого нехитрого эликсира – высокие моральные принципы плюс унылая рутина. Ученикам вбивали в головы столько правильных и хороших вещей, что даже самый тупой индивид рано или поздно усваивал, что главное, ребята, сердцем не стареть, сам погибай, а товарища выручай, коллектив – всему голова, а родина-мать – зовет. В школе из молодого человеческого вторсырья сноровисто собирали порядочных людей, действительно порядочных, просто делали это по большей части спустя рукава и конвейерным способом.

Кому-то везло, и он попадал в руки настоящего мастера – и тогда вместо условно, по трафарету обработанной болванки на свет появлялась индивидуально ограненная личность, притягательная, сложная, сделанная с любовью, а не на заказ. К сожалению, мастером мог оказаться не только какой-нибудь заслуженный учитель Советского Союза, тихо помешанный на физике и детишках, но и банальный дворовой пахан, несостоявшийся Песталоцци, зато вполне успешный и действующий мерзавец и вор, или просто Гепард, такой же точно, как в «Парне из преисподней». Огарев своего учителя нашел не скоро и не в школе, потому просто захлебнулся в ежедневной школьной скуке. Быть хорошим его научили быстро, но вот что с этим делать – никто не знал.

Учился Огарев неплохо, но это не помогало. Он не был ни отличником, ни отъявленным хулиганом, ни шутом – и потому вообще не появлялся в свете ежедневных школьных софитов. Как будто отказывался признавать, что популярность – это работа. Может, и правда не понимал. Но дело было не в привычке держаться в тени – в конце концов, середняков на земле вообще большинство, немых, безликих, идущих вечным алфавитным списком, что в классном журнале, что на братской могиле, что на переключке в армии или

концлагере.

Огарева почему-то сторонились.

Нет, не брезговали – именно сторонились. Как будто понимали, не понимали даже – просто чувствовали, что с ним что-то не так. Каждый третий в школе был безотцовщина, каждого второго колотили, иных – смертным боем, до синяков. Конечно, Огаревы здорово обнищали – неизвестно почему, но многие одевались куда хуже, он был хотя бы всегда чистый, всегда стриженный, всегда в свежей рубашке, мать следила за этим – из последних сил – и его самого приучила.

Ничего не помогало. Он был нелюбимый. Просто нелюбимый – и все.

Сопротивляться, спорить – бесполезно.

Огарев так и провел бы всю школьную, а может, и не только школьную жизнь в сонном оцепенении, если бы не Неточка. Она появилась 1 сентября 1984 года, надменная, долговязая, великолепная. И за несколько месяцев превратила Огарева из неудачника в эмбрион человека. Дочка какого-то мелкопоместного железнодорожного начальства, она была не такая, как все, совершенно, даже в мелочах. Фартук – кружевной, а не из скучной монашеской шерсти. Пенал – импортный, с немислимой переливашкой, из которой подмигивал то Микки-Маус, то еще какая-то неопознанная лукавая мультяшка. Прическа – черт, у Неточки была не коса, как у большинства девчонок, и даже не парикмахерская дурацкая стрижка горшком, а самая настоящая взрослая прическа. Высоко собранный на затылке медно-рыжий, почти красный узел, к которому сбегались от висков две пряди, переплетенные так хитро, что ясно было – Неточка, собираясь в школу, не рыскает, как все, по углам в поисках сменки или дневника, а проводит перед зеркалом неторопливые, полные таинственного женского достоинства минуты. Даже комсомольский значок у нее был не такой, как у всех, – крошечный, как темная, подпекшаяся кровяная капля. Да что там – кроме нее, и комсомольцев в классе пока не было.

Все это – включая рыжину, дерзкую белокожесть и крупные веснушки на вздернутом носу – обеспечивало Неточке статус профессионального изгоя. Выделяться было не принято. Ни в те времена, ни в том возрасте, ни в том районе. Не таких, как все, били – простодушно, сильно, даже не зло. Просто чтоб поучить, пригнуть под общую гребенку. Относительное спокойствие

гарантировала только серость. Огарев это понимал. Даже Огарев, одинокий, тощий, нескладный. В свои четырнадцать лет. Но Неточка – и это было поразительно, конечно, – Неточка носила свою непохожесть с царственной беспечностью. Точно мантию горностаевую, честное слово. И не просто мантию, а мантию, привычную с детства. Ну, вот так я одеваюсь, что ж теперь? Немного неудобно, часто тяжело и в троллейбус не сразу втиснешься, но зато все провожают глазами. Все.

Даже имя у нее было необыкновенное. Бесхитростная Наташа Столяр по классному журналу, она представилась любопытствующим одноклассникам, точно в глаза плюнула. Неточка! И когда Огарев, жалко желая выслужиться перед классными силачами, процедил насмешливо, что таких имен не бывает, брезгливо удивилась – ты что, Достоевского не читал? Огарев, не ожидавший от новенькой никакого отпора, только и смог выдать – дура, и отполз в сторону, посрамленный. Неточка забыла о нем в ту же секунду – это было ясно. И справедливо. Конечно, может, она и была дура. Вот только Достоевского Огарев и правда не читал. Ну то есть терзался над школьной программой, как все, пытаюсь выудить из тоскливых параграфов хоть каплю здравого смысла. Но по-настоящему не читал. Нет. И не только Достоевского.

Что бы несчастное человечество делало без половых гормонов? Уязвленное самолюбие ныло и через день, и еще через один, так что Огарев, устав тарашиться на рыжий Неточкин затылок (Тициан все еще болел, все еще никак не хотел отпускать) поплелся в библиотеку. Дома книг не было. Вообще. Даже места для них не предполагалось. Выданная по формуляру «Неточка Незванова» оказалась ожидаемой скучищей (Достоевского, кстати, Огарев так и не полюбил никогда и особенно раздражался, что все у этого нервного автора беспрестанно рыдали и становились на колени). «Братьев Карамазовых» он преодолевал на чистом мужестве, как суворовский солдат – заснеженный перевал, но, к счастью, умиленная огаревским рвением библиотекарша (тряпичные фиалки на лацкане, очки, так и не приплывшие никогда алые паруса) сжалилась и подложила ему сперва Толстого (разумеется, того самого, единственного, Льва), потом Бунина, а дальше уже Огарев покатил сам, все ускоряясь, словно в счастливом сне, все дальше оставляя позади Москву, захудалый свой рабочий район, отца, самого себя прежнего, дебиловатого недоумка.

«Мартин Иден», взятый с полки уже самостоятельно, без библиотекаршиного подсказывающего шепотка, укрепил его в том, что в жизни возможно все. То есть вообще все. Если очень постараться. Так что Огарев, аккуратнo, как с

двухверсткой, сверяясь с Джеком Лондоном, утроил интеллектуальные усилия и к новому году был вполне готов к литературной дискуссии. Но – поздно. К тому времени в Неточку были влюблены все мальчишки класса, и пробиться через этот коленопреклоненный (совсем как у Достоевского) пажеский корпус уже не представлялось возможным.

«Дура» так и осталась единственным словом, которым Огарев обменялся с Неточкой. Увы. Она его не замечала. И это даже звучало как начало городского романа, пошлого, невозможного – и от того так сильно и просто трогающего сердце. К счастью, тихий, неотразимый яд, которым напитана русская классика, оказался в случае с Огаревым животворным, будто прививка. «Крейцера соната», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание»... Огарев перечел их залпом, но вместо того, чтобы умереть, просто разлюбил Неточку за одну ночь – невозможным волевым усилием, о котором старался не вспоминать и взрослым.

Наутро в класс вошла самая обычная рыжая девчонка. Курносая, нескладная, в грубоватых колготках. Вулканический прыщ сиял на ее лбу сквозь нашлепку тонального крема, розоватого, жирного, неприятного. Она грохнула на парту спортивную сумку (одним только учебником литературы можно было если не прибить, то уж точно всерьез покалечить), уселась, рьяно поскребла шариковой ручкой затылок. Огарев с угрюмой безжалостной грустью наблюдал превращение королевской медной короны в обычный узел на затылке – кривоватый, небрежный. Подростковая сальность, перхоть, хлопьями присыпавшая помрачневший к пятнице кружевной воротничок. Голову следовало бы вымыть еще пару дней назад. Только рыжий цвет что-то еще значил. Только он еще и волновал.

И Огарев привычно уже отправился в библиотеку.

Тициан – не ворованный, впервые просмотренный честно, при всех – чуть поблек, словно и сам смутился. Библиотекарша принесла еще стопку альбомов, тяжелых, в суперобложках, кое-где нервно надорванных по краям. Леонардо, Рубенс, Джотто, ненормально прекрасный Врубель, передвижники, такие немудреные на первый взгляд. Растущая, внезапно опустевшая без Неточки душа Огарева настоятельно требовала прекрасного – это было все равно что потерять зуб. Язык, привыкший к гладкому частоколу, поминутно нашаривал дыру, безболезненную и от того особенно неприятную. Засасывающая пустота. Заплывающая рана.

Огарев сидел, ссутулившись, в читальном зале. Выбирал себе мечту. Тихий библиотечный свет ложился на гладкие страницы, собирался лужицами, бликовал. Все было красивое, но чужое, все туманилось чуть-чуть, словно силясь сбыться. Устав от репродукций, Огарев продирался сквозь микроскопическим кеглем набранные статьи маститых искусствоведов, которые невнятно, словно полный рот бороды набрав, разъясняли истинную сущность шедевров, рекомендовали обратить внимание на перспективу, лакомились особенностями техники.

Вот это оказалось интересно.

Огарев, сам не способный нарисовать ни солнышка, ни хрестоматийного барашка, с неожиданным удовольствием вбирал в себя вкусные слова – темпера, масло, энкаустик, акварель. Литография отличалась от гравюры, свет Мане – от теней Рембрандта. Читать о картине и смотреть на нее. Сразу два канала информации. Нет, даже три. Тихий бубнеж читального зала – скрип паркета и старых стульев, грохоток фольги, это уже шоколадка – принесенная и съеденная кем-то втихомолку, украдкой. Шепот, легкое дыханье, аппетитный хруст раскрываемых корешков. Библиотекарша вынесла последнюю стопку альбомов, развела виновато руками – больше нету. Может, тебе просто в Третьяковку сходить?

Огарев подумал, прислушался к себе – нет, пожалуй, что хватит.

Не пригодится.

Но – надо же, пригодилось.

Много-много лет спустя, бродя по европейским пинакотекам, он словно заново перелистывал оставленные в отрочестве альбомы – нет, нет, Маля, это фра Филиппо Липпи, учитель Боттичелли. Забавно, видишь? Везде писал одно и то же лицо. Даже ракурс везде одинаковый. Как будто не умел ничего другого. Может, и правда не умел. А? Нет, это уже после XVI века. Или самый его конец. Можешь не проверять даже. Ну что значит – откуда знаю? Знаю, и все. Видишь, как собачья шерсть прописана? Это лессировка. Она появилась как раз в XVI веке.

Маля наклонялась к темному, маслянистому холсту, изумленно рассматривала вислоухого игривого кобелька, лежащего в ногах очередной томной данаи. Глубокие шелковые складки, нега, ошейник, холка, коготки. Все истлело, умерло, истаяло много веков назад. Все никуда не делось.

Вот эти мазки, видишь? Длинные, прозрачные? Это и есть лессировка.

Ты точно врач? Маля недоверчиво качала головой.

Врач, конечно.

По-моему, ты не тем деньги зарабатываешь.

Огарев смеялся невесело – это была чистая правда, конечно. Не тем. Совершенно не тем. Зачем я лечу? Разве это настоящее? Галерея Уффици, венский Музей истории искусств, дрезденская галерея, безымянная деревенская церквушка, приютившая на стене фреску Джотто. Должно быть, провалял здесь дурака целую неделю, пил вино, щипал за бока круглых здешних красавиц, целовал хлеб в горячий живот, прежде чем надломить. Макал в уксус и масло. Оцет и олей.

Расплатился вот этой фреской.

Умер. Тоже умер.

Вся мировая живопись не смогла принести Огареву утешения, зато зачем-то осталась в памяти, легла грузом – слава богу, хоть не мертвым, тихо осела на тихое дно. Вечерами он рассказывал Мале сказки про Рафаэля и Дюрера, про Боттичелли и Миров. Но тогда, в четырнадцать лет, так и не нашел кого полюбить. Оставалась только мать – тихая, уродливая, никому не нужная. Огарев, переполненный своей новой свежечитанной жалостью к миру (оказывается, это было совершенно необходимо – жалеть!), вдруг увидел ее – ненадолго, всего на несколько месяцев, которых ей потом хватило до конца жизни и даже потом, даже потом, еще долго потом.

Мать тащила сумки. Две авоськи, оттянувшие руки, и без того длинные, нелепые, вылезшие из коротковатых обтрепанных рукавов. Все носили

болоньевые плащи, модные, шуршащие. У нее такого не было. Семисезонное пальтецо. Суровое сукно. Серое. Почти шинельное. Платок, сбившийся до затылка. Душа, сбившаяся до красноты, до мякоти, почти до кости. Волоклась как кляча. Семь кило картошки. Две бутылки кефира. Сутулость. Батон за двадцать две. Пачка сахара. Каменная соль. Тяжело.

Огарев догнал, молча выхватил сумку. Одну, потом вторую. Ахнул. Действительно тяжело. Мать сопротивлялась испуганно, тянула авоськи к себе, будто не сразу узнала сына. Мам, дай. Ну дай же! Не надо, Иван, не надо, я сама. Огарев отпихнул ее – почти грубо. Надорвешься ведь, сынок! Не надорвусь. Мать покорно засемила рядом, приноравливаясь к его уже почти взрослому шагу. Осень. Окраина. Мга. Фонари, выбитые через один, как зубы.

На углу, почти возле дома, она сделала еще одну жалкую попытку отвоевать свои авоськи. Нет, мам. Я же сказал. Отстань! Нежность, притворившаяся грубостью. Ощетиненный, обиженный, жалкий. Злой. Поняла, не обиделась. Конечно же, поняла. Почему отец не помогал ей? Никогда. Заправить пододеяльник. Подать руку. Поднести. Придержать дверь. Такая простая, человеческая забота. Огарев, не позволив себе даже раза передохнуть, дотащился до их квартиры. Зассанные углы, замалеванные суриком стены.

Сгрузил все на кухне. Потер вздувшиеся на ладонях красно-белые рубцы. Больше ты сумки носить не будешь. Мать вдруг встала на цыпочки, прижалась на мгновение мокрым бледным лицом. Большой стал совсем. Вырос. Сказала растерянно, точно взросление Огарева не было предусмотрено никакой программой. Точно удивилась.

Ночью Огарев плакал – сперва как ребенок, горько, отчаянно, жалко. В последний раз. Под утро – уже совсем как взрослый, молча. Как взрослый, давал себе клятвы, неисполнимые, тяжелые. Страшные. Все, все будет теперь не так. Но все, конечно, осталось по-прежнему. Правда, он несколько раз действительно сходил с матерью по магазинам – по большому кругу. Два продовольственных, хозяйственный, булочная, гастроном. Даже хитрушка, на которой торговали картошкой, зеленью и в сезон – ягодой, яблоками, тут же, неподалеку, в предместьях, выращенным луком. Очереди, отчаянная скука, такой же отчаянный стыд.

Оказывается, кормить семью – это было долго, мучительно, сложно. Его подзабытые уже детские пробежки за хлебом и молоком казались теперь раем. Мать шарила

по полкам тревожными глазами. Не выкинули ли чего нужного? Не забыла ли? Порошок стиральный еще надо бы... Мать брала его за руку (при всех! при пацанах!). Донесем, сынок? Как думаешь? Справимся? Огарев дергался от жалости, как от ожога. Тянул руку назад, к себе, прятал для верности в карман. Мать не замечала. Она радовалась их неожиданному заодно, и радость эта, тихая, прибитая, уродовала ее еще больше обычного, привычного уже оцепенения.

Они перли домой неподъемные сумки, мать робко мечтала, что вот, раз уж такое дело, может, ремонт к лету сделаем. Одна-то я не управлюсь. А с тобой мы и обои зараз донесем. И поклеим все. Отец из отпуска вернется – а у нас вон оно что! Всегда ездил один. В санаторий – на двадцать восемь дней. По путевке от завода. Всегда. А они с матерью оставались в городе. Спрашивать почему было бесполезно. Мать просто не знала. Разводила неуклюже вязаными рукавичками. То же пальто, жиденькое, продрогшее. Только вместо платка зимой извлекалась с антресолей пуховая серая шаль. И вот – рукавички.

Я не знаю, сынок.

Ремонт они так и не сделали.

Не успели.

К новому году у Огарева появилась новая жизнь, новая мечта. Интересная. Настоящая. Живая. Мать какое-то время еще семенила рядом, придерживаясь за Огарева рукой, – будто спешила за трамваем, а потом отстала, хотя перешла на бег, и только отстала еще больше, маленькая, жалкая, виновато улыбающаяся.

Одна. Снова одна.

Теперь уже насовсем.

Мужик возился в сугробе, неловко, как тюлень, – подгребал снег тяжелыми ластами, силился приподнять громоздкую тушу. Плюх, шлеп. Безвременно угасший фонарь, глухой переулочек, вечер. Напрасно. Здоровенный. Сам не подымет. Огарев подошел, наклонился и подобрал сначала свалившуюся с

мужика шапку – хорошую, дорогую, пушистую. Пыжик. Если бы шпана подрезала, шапку бы точно забрали. Значит, просто пьяный. Повозится еще немного, устанет, заснет и через пару часов замерзнет заживо. Нет, неправильно – не заживо, а насмерть. Огарев протянул руку – молча. Мужик так же молча покачал головой – и Огарев, сразу поняв, подставил плечо. Крякнул. Еще крякнул. Поднатужился.

Присядь, коленки согни. Так легче будет, посоветовал мужик, обдав Огарева не ожидаемым перегаром, а вкусной одеколонной волной, сладковатой, ванильной, почти съедобной. Как будто не человек ворочался в снегу, а громадный горячий батон. Отец одеколонился только в парикмахерской. Освежить не желаете? Зеленый флакон с пульверизатором. Зеленый запах «Шипра». Пшик-пшик. Коленки согни, говорю, спину сорвешь. Огарев послушался наконец и – р-раз! – гладко, как пробку из бутылки, вынул мужика из сугроба. Обстучал об коленку шапку, протянул.

Спасибо!

Мужик попробовал шагнуть, сморщился от боли, засучил штанину и ловко, будто не свою, а чужую, ощупал бледную безволосую икру. Вишь ты. Подвернул все-таки. Он был ни грамма не пьяный. Просто оступился и упал. Тротуары в их районе сроду никто не чистил, а если еще пацаны раскатают – чистый лед. Огарев, как замороженный, смотрел на вздувшиеся на ноге чудовищные мышцы. Как будто кто-то скрутил в жгут тяжелые древесные корни и приладил к живому человеку. Мужик одернул штанину, распрямился. У него было обманчиво мягкое, круглое лицо и маленький курносый нос. Куковкой. Совсем детский.

А ты молодец, сказал он с уважением. Крепкий. Во мне сто кило без малого. Лет тебе сколько? Четырнадцать, буркнул Огарев. Годится, одобрил мужик весело. И это была еще одна награда. Непривычная. Еще одна похвала. Отец за всю жизнь не похвалил его столько раз, сколько этот мужик – за пару минут. Огарев уже обожал его, конечно. Эту шапку. Этот запах. Это пальто, сероватое, в полоску, натянутое на таких же чудовищных, как икры, мускулистых плечах. Мужик положил ему на шею горячую руку, потрепал ласково, как щенка. Тощий какой. Но все равно – крепкий. Одни жилы. Приходи в Дом культуры. Спросишь Валерия Викторовича Матюкина. Мужик еще раз наступил на пострадавшую ногу, словно принаравливаясь к боли, и, пожав Огареву руку, похромал по тротуару. Хотите, я провожу? – спохватился Огарев, но мужик, оглянувшись, успокоил – сам добреду, не бойсь. И приходи обязательно. Чемпионом станешь.

Огарев пришел и провел в секции тяжелой атлетики четыре счастливейших года своей жизни. Только чемпионом, конечно, не стал. Матюкин ошибся. В крошечном потном спортивном зале, среди гроыхающих блинов и скользких матов, Огарев стал протестантом.

Нет, никакого чуда на самом деле не произошло. Конечно, литературная традиция, слишком часто и властно заменяющая в наших широтах настоящую жизнь, настоятельно требует вознаградить героя за труды. Трансформация из недоумка – в лебедя. Сотворение человека. Посрамленный отец, покоренные одноклассники, влюбленная Неточка, суровый и одинокий уход в пылающий будущими свершениями горизонт. Предварительно – короткая и мужская драка с хулиганами, никак не ожидавшими от вчерашнего заморыша таких убедительных хуков и люлей. Огарев сам читал про такое тысячи раз. А потом и смотрел – когда открыл для себя кино, еще одну увлекательнейшую реальность, опасно соперничающую с действительностью, сероватой, пыльной, некрасиво слежавшейся по швам.

Что бы мы вообще делали без Голливуда?

На что бы надеялись? Чем бы жили?

Но – нет, никто не заметил ничего, разумеется. Книги, которые Огарев продолжал поглощать, не вписывались в школьную программу никак, даже если и были ее частью. Так «Война и мир», поразившая его, как иной раз поражают средневековые соборы, простые, огромные, насквозь пронизанные светом и временем внутри, по учебнику считалась выразителем какой-то мутной «мысли народной», зато про самое важное и интересное не было ни слова. Правда, как-то раз Огарев попытался на уроке рассказать о том, что тронуло и задело его в романе, пожалуй, больше всего. Не отрезанная нога Анатоля Курагина, не атака кавалергардов (блестящие, на тысячных лошадях богачи, юноши, красавцы, из которых в живых осталось только оснадцать человек), не Наташа Ростова, которую он невзлюбил сразу, как можно невзлюбить только младшую сестру, а образок. Ну, серебряный образок, который княжна Марья надела на шею Андрею Болконскому в начале книги. А в конце солдаты снимают с раненого князя уже золотой образок на золотой цепочке – и эта маленькая толстовская неточность была таким ярким и невероятным свидетельством могучего хода романного времени, что у Огарева от ужаса и счастья дыбились волоски на предплечьях.

Но когда он, путаясь в словах, заикаясь, помогая себе руками и даже плечом, попытался рассказать об этом на уроке, умаявшись от скуки одноклассники даже не заржали, а словесник, кислый, крепко попивающий мужичок, только пожал плечами и вlepил Огареву точку в журнал – грозившую превратиться в полноценные два балла, если к следующему уроку ты, болван...

Ну и так далее, так далее, кондуит и швамбрания, очерки бурсы, зубрежка от сих до сих.

Спортивные успехи Огарева тоже нигде не пригодились, так и остались незамеченными. Конечно, тренер радовался каждому очередному весу, хлопал по плечу, науськивал на рекорды, но даже сотня выжатых металлических кило не прибавляла Огареву ни капли внешней агрессии. Его по-прежнему толкали, затирали – в очереди в столовую, на перемене, не подозревая даже, что он без особых усилий способен сломать любому из своих обидчиков ключицу. Крепкая, между прочим, кость. И Огарев послушно сторонился. Отступал добровольно в тень. Не делал даже попытки выставиться – и так и остался для всех серым, угрюмым, молчаливым обитателем предпоследней парты.

Это был дефект личности, конечно. Возможно, урожденный. Возможно, просто причудливый вывих воли, нежданный подарок дорогого отца, но только Огарев за всю свою жизнь так и не научился встраиваться в систему. Просто не знал, как надо. Не понимал. И никогда не понял. Потому так и остался – обычным врачом, приметным только для тех, кому было действительно плохо.

Бойкие, громогласные, просто наглые с легкостью занимали все лучшие места – и никакая мировая справедливость не работала там, где в ход вступали крепкие локти и такое же крепкое, непрошибаемое самолюбие. Пока Огарев всерьез, натужно, мучительно размышлял, имеет ли он право высказаться и достоин ли быть услышанным, вперед уже проталкивался кто-то, не способный сомневаться в принципе и потому счастливый, господи, совершенно счастливый. Уверенный в себе. В том, что умный. Лучший. Единственный на свете.

Пик расцвета этого наглого пустоголовья пришелся на пик расцвета социальных сетей. Собственно, одно породило другое, вернее, одно паразитировало на другом, это был настоящий праздник питательной падали – миллионы крошечных постаментов, с которых, надсаживаясь и приподнимаясь на цыпочки, кричали о себе самих миллионы махоньких наполеонов.

Огарев, слава богу, взрослый уже, не питающий напрасных иллюзий, изумлялся, как могут тысячи и тысячи людей не понимать, сколько достоинства в молчании. Это же было так очевидно – громче всего звучал именно пустой барабан. Честность, истина, вера, мужество, талант – все лучшее, чем мог похвастаться человек, существовало в беззвучии, в немоте безостановочного, мало кому заметного и только потому результативного труда. Набоков, вопящий о своей гениальности, Лев Толстой, извергающий сотни постов в день – вот я поел, вот посрал, вот разразился крылатой фразой. Это было невозможно. Физически невозможно. «Фейсбук» стоило придумать только для того, чтобы показать нам наше истинное величие. Эра бесплодных бахвалов. Пустая, грязноватая, граненая, как стакан.

И как знать, не будь у Огарева спортивного зала в Доме культуры, он бы, может, тоже в сорок лет пыжился, как другие, – подпрыгивал, мотал руками, вопил. Вот, вот я, Господи! Посмотри, какой удалец. Ниспровергаю, готовлю рататуй с раковыми шейками, спасаю леммингов, борюсь с мировым злом. Вот мои сиськи, вот мой котик, мой сладкий сынулька, мои бусики, мой ничтожный, крошечный, никому не нужный мир. Конечно, многие кричали от отчаяния, от страха, это был Ухов, катаевский Ухов, Ухов, Ухов, отчаянно корябающий на стене свое имя, пока его волокут на расстрел. Но для тех, кому доставало мужества и достоинства молчать, время все-таки имело другой отсчет. Раз за разом выжимая в спортивном зале старенькую поскрипывающую штангу (скрипела не штанга, конечно, даже не мышцы – воля), Огарев понял необыкновенно важную вещь. У него был предел. У каждого был. У любого. На каждой тренировке они, мосластые, худые переростки, отмотав свои четыре разминочных километра вокруг стадиона, собирались вокруг большого стола, на котором, под мутным пластом плексигласа, лежал план занятия.

Жим лежа, становая тяга, подъем на грудь – невозмутимый Матюкин рассчитывал их сегодняшние веса в процентах от предельного. Предел определялся легко – это был вес, который ты не в силах оторвать от земли. Именно наличие этого предела и делало человека – человеком. Но самое главное было не в том, что предел существовал, а в том, что его можно было увеличить. Сотни, тысячи монотонных движений, усилие за усилием, рывок за рывком – и предел увеличивался. Шестьдесят килограммов в толчке превращались в семьдесят. В семьдесят пять. Это был видимый результат тяжелого труда. Это была правда. Чистая и честная правда. Стертые волосы на бедрах, каменные мозоли на ладонях, выпиленная на ногтях больших пальцев бороздка для лучшего хвата, канифоль, магнезия, растертая по бедрам и по груди, – в то, что терпение и труд все перетрут, Огарев поверил именно благодаря Матюкину.

Только множество незаметных, честных, тяжелых усилий приводили к истинному результату. С наскока можно было хапнуть что-то только один раз. Да и то случайно. Удел трусов и подлецов. Настоящую радость приносила только настоящая работа. Гумилевское гениальное – какой же я интеллигент? У меня, слава богу, профессия есть – Огарев тоже выстрадал и понял в спортивном зале.

И что с того, что никто так и не заметил, какой он стал крепыш? Как вырос? Какого тихого достоинства набрался? Как зауважал себя – незаметно, молчаливо, за дело, не за крик? С 1985 по 1987 год Огарев добился главного – стал человеком. Оставалось выбрать только профессию. Дело по душе. Дорогой мой человек. Дело, которому ты служишь. Я отвечаю за все. Скучнейшие книжки. От одних названий – дрожь. Огарев никогда и не помышлял о медицине. Святость – это было точно не его. Даже не просите.

Как это часто бывает, всю оставшуюся жизнь определила череда мелких, незаметных шажков. Тихие крючки, шестеренки, невидимые зубчики, голубиное перо, невесомо опустившееся на спину всхрапнувшего от усталости быка, – Богу никогда не было жаль времени на мелочи, тонкую подгонку деталей, на милые, Ему одному заметные пустяки. Чего стоила только эволюция, боже мой, – вот уж трудно найти более неопровержимый аргумент, доказывающий существование Бога. Эта видимая любому естественнику прекрасная кропотливая работа – однокамерное сердце, двухкамерное, трехкамерное, наконец, четырехкамерное – а вот это я здорово придумал, хорошая идея, попробуем-ка повертеть еще немного и посмотрим, что получится. Привет, крокодил! Именно на твоём сердце я тренировался, создавая первого человека. Просторный верстак, миллионы лет изумительно точной работы, приятная ломота в плечах, шершавые пальцы, тихая гордость ремесленника и профессионала.

В десятом классе выпускников то и дело таскали на дни открытых дверей в разные вузы – социальные лифты хоть и подвывали уже от дряхлости, но все еще работали бесперебойно. Стране по инерции было не все равно, что будет дальше, и остаться никем удавалось только по-настоящему безмозглым и ленивым индивидам да неподдельным гениям. Остальных бодро разбирали, самых талантливых вообще придиричливо вели с детства, пестовали, лелеяли, перебирали плевелы, сдували человеческую шелуху, пока в горсти не оставались только полноценные, спелые, горячие зерна. За Огаревым, крепким честным середняком, никто, конечно, прицельно не охотился. Поэтому он простодушно и даже самоуверенно не знал, кем хочет стать, пока их гуртом не пригнали во Второй мед, недавно отремонтированный, сияющий, нездешний.

Огромные аудитории, новенькие, с иголки, лаборатории, невероятные трехсотметровые коридоры, по которым быстро, будто бы по делам, спешили студенты в белых халатах, и от каждого веяло тугим сквознячком тоже нездешней и удивительно взрослой свободы.

Да ну, лягушек резать придется, брезгливо скривилась Неточка (господи, дура какая! И правда – дура!). И умерла уже окончательно. Навсегда. Огарев с первого взгляда влюбился не в медицину, а в мединститут. Дома было грязно, тесно и уныло, родная окраина стремительно закисала, заванивалась, словно забытая в ведре старая половая тряпка, а это огромное новое здание было целиком из будущего. Огарев выбрал завтрашний день. Чистый, стерильный, свободный мир.

И – прогадал.

Медицина оказалась совершенно чужим, непонятным и неприятным даже делом. Относительная легкость поступления (мальчик, спортсмен, москвич – не нуждается в общежитии, не ускользнет в декрет, устойчив психически) сменилась невыносимым адом первого года учебы. Латынь, три химии, физика, биология, история КПСС – все это было, как в школе, ни для ума, ни для сердца, скучно, скучно, скучно. Но анатомия! О которой предупреждали, которой пугали и которая оказалась много хуже всего, что Огарев только мог себе вообразить. Тупая, бессмысленная, бесконечная зубрежка. Термины, принципиально не имеющие никакого смысла, расплывающаяся от усталости кровавая картинка из атласа, пучки белесых нервов, закоулки, органы, пазухи, волокна мышц. С невероятным трудом перевалив через первую сессию, Огарев к весне был готов признаться самому себе, что совершил ошибку. Он забросил спорт (бедный, бедный Матюкин), хронически, нет, даже не так – злокачественно не высыпался, но легче не становилось. Отец оказался прав – дуракам не место в институте. Мед надо было бросать, пока не поздно, пока остатки самолюбия еще можно было различить на самом дне мусорного ведра. Но уходить самому не хотелось отчаянно. В конце концов, на первом курсе тяжело было всем – с легкостью преодолеть атлас Синельникова мог только идиот, способный к бессмысленному запоминанию любого объема информации. «Человек дождя». Сколько лет еще жить без этого фильма... Но нет, не могу, просто не могу больше раскачиваться часами, словно средневековый школяр, долдоня *Ingentes ac immortales habendas esse gratias ijs, qui opus antiquioribus elaboratum temporibus restituunt...* И снова – *Ingentes ac immortales habendas...*

И все ради того, чтобы еще несколько лет ходить просторными коридорами и потом всю жизнь изображать доктора Айболита?

Огарев, почти девятнадцатилетний, рослый, крепко и щедро накачанный (хватило, кстати, на всю жизнь, и много лет спустя Маля ахала, беря его под руку, – горячая легкая ладонь, горячий круглый, словно навсегда запомнивший пик своей идеальной формы бицепс), ночами едва не плакал от усталости и отчаяния. Кто-то должен был решить за него, что делать, все равно кто, лишь бы не он сам. Но родители помочь ничем не могли, отец – как всегда, не хотел, мать тихо страдала от молчаливых мигреней, которые становились все чаще, все чаще, все тошнотворнее. Вот станешь врачом, сынок, будешь давление мне мерить иногда... Смотрела просительно, жалко. Протягивала холодную робкую руку – дотронуться. И не решалась.

Хоть бы война, что ли, какая-нибудь началась...

Спас всех Язов, министр обороны СССР, вдруг вздумавший забрить в рекруты прежде неприкасаемых студентов – будто и правда предчувствовал близкую войну, они же все тогда томились, все до одного, все бормотали – пусть сильнее грянет буря. Двадцать седьмой съезд КПСС. Курс на перестройку и ускорение. Перекосившийся от старости почтовый ящик в перекосившемся от отвращения подъезде. Кошка Пихаревых с третьего этажа скоро дырку тут просыт, тудыжеемать!

Огарев держал в руках повестку – и, честное слово, не было на свете человека счастливее, чем он. Только армия могла стать решением всех его проблем, конечно. Армия, война. Так часто бывает. Закон сохранения горя. Иногда, чтобы спасти жизнь человека, требуется отобрать великое множество жизней других. Или взять взамен одну единственную, но опять же – ни в чем не повинную, чужую. Огарев пока не знал об этом, поэтому ему было плевать. Он шел в армию, черт возьми. Его забирали! Хоть недолго не думать. Ничего не решать. В городском сборном пункте на Угрешке «покупатели» выбрали его одним из первых. Студент-первогодок, штангист-разрядник, ясные глаза, светлые волосы, густота подшерстка, форма черепа, национальность, рост, вес. Комковатость лап просто необыкновенная. 1988 год. Весна. Прощание славянки.

Урааааа!

Не слышу, солдатушки!

Ураааааа!

3 июля 1989 года Огарев стоял в карауле.

Вернее, не стоял – а обходил, согласно уставу караульной службы, привычный периметр. Вычислительный центр, унылый, длинный, как тюремный барак, с потюремному же зарешеченными узкими окнами. Еще один ВЦ – круглый, огромный, бетонный. Угу, именно круглый – как цирк. Внутри, по слухам, громоздилась циклопических размеров ЭВМ. А может, и вообще ни черта не было. Или картошку хранили на зиму. Молчи, тебя слушает враг! Космическая тарелка АФУ. Ряды колючки справа и слева, проволочная система «Радан», «Сосна», снова колючка, невидимая, уютно свернувшаяся в траве, готовая принять утратившего бдительность супостата, контрольно-следовая полоса. Почему-то Огарева чаще всего ставили в наряд именно сюда, к АФУ, так что он даже начал считать антенно-фидерное устройство своим собственным, чуть ли не родным. Этакая нелепая громадина, нуждающаяся в его персональной защите.

Не боись, сеструха, не тронут.

За всеми рубежами охраны, почти вплотную подступая к объекту, стояла тайга. Огарев до армии считал ее чем-то вроде Леса из «Улитки на склоне» – невнятная ухающая и вздыхающая биомасса, полная опасных тайн, непродирная и непролазная. Ерунда, книжные глупости. Нелепые выдумки москвичей. Тайга в Красноярске-26 оказалось удивительно чистой, даже торжественной. Строгий сквозной сосновый лес, только в самой глубине, едва постижимой взгляду, сливающийся в одно сплошное страшное марево. Грандиозные ровные стволы даже в самую безветренную погоду тяжело и безостановочно поскрипывали, а зимой, пугая солдатиков, издавали совершенно чудовищные стоны, низкие, рычащие, точно кто-то там, внутри тайги, доходил до последней степени боли и отчаяния – и становился человеком.

Зимой было холодно, кстати, – просто невероятно. Даже в караульном тулупе.

Особенно почему-то мерзла задница.

Но 3 июля в Красноярске-26 стояла жара.

Огарев шел тропой наряда. В самом этом словосочетании было что-то увлекательное, мальчишеское. Почти счастливое. Тропа наряда. Как тропа войны. Огарев прослужил уже чуть больше года и совершенно обвыкся в армии, как обвыкаются с не очень удобной поначалу обувью. Просто потому что другой нету, а босиком, сами понимаете, долго не походишь. Служба, на которую он возлагал такие надежды, поначалу бесила своей откровенной дебиловатостью: выпученные глаза, бесконечный надсадный ор, сотни раз отданные и лишённые всякого смысла приказы. Не думать и не решать оказалось так же сложно, как и думать. Но потихоньку, не сразу, армия наполнилась содержанием. Даже значением.

Огарев, выпестованный отцом, который до объяснений никогда не опускался, подчиняться умел, но не любил. И насилия не выносил совершенно. Рывканье «лечь-встать», повороты и замирания на месте, вся эта многочасовая и нудная отработка нехитрых и очень условных рефлексов долго казались ему верхом тупоумия. Он хотел понимать, что и зачем делает. Это было унижительно, черт подери. Скакать мартышкой, бегать с полной выкладкой, ползать пузом в грязи Огарев был не против совершенно, в конце концов, это было вполне пацанское времяпрепровождение, грандиозная игра в войнушку – только с настоящим оружием и настоящей усталостью. Даже получать кованым сапогом под дых – это было нормально, пресс надо было набивать, это Огарев понимал, в спортзале тоже частенько бывало больно, но там результат и конечная цель были понятны и ясны, сливаясь, в конце концов, как и положено, воедино. Сотни повторов и подходов превращались в мышечную массу, сплошной твердый корсет, стягивающий спину, спина распрямлялась, рывком, толчком – вес ведь берут спиной, вы же знаете? – и изогнутый под тяжестью блинов гриф поднимался на очередную, рекордную высоту. Огарев брал сто десять в толчке. Неплохо для паренька с рабочей окраины. Но на раз упор лежа, на два – отжаться тридцать минут подряд – это было зачем? Родину защищать? Так Огарев стрелял лучше всех в роте. Лучше бы в тире эти тридцать минут, честное слово, товарищ капитан.

Ротный, капитан Цыбулин, смешной и страшный человечек с косым пузцом и в круглых, как у Добролюбова, дурацких очках, которые он почему-то называл «окуляры» (убивать – такая же профессия, как и все остальные, на нее всякий годен, вот я, например, годен даже в окулярах), вздыхал недовольно. Москвичей, да еще студентов, он на законных совершенно, армейских

основаниях не любил, да и было за что. Но Огарев Цыбулину нравился – ершистый и головой варит, не отлынивает. Ясно было, что солдат из Огарева как из говна пуля, слишком уж умный. Зато офицер мог получиться что надо. Перестань думать, Огарев, советовал Цыбулин от всей души. Думать – больно. Просто выполняй приказ. Огарев выполнял, но при этом картинно морщился и язви́л, вполголоса, но так, чтобы ротный слышал, разлагал, понимаешь, моральную обстановку во вверенном Цыбулину воинском подразделении.

И дотязвился.

Солдатики, расслабленные, потные после спарринга, смолили у фанерного щита с самопальным плакатом «Родине – отличную службу!», Огарев, кстати, и намалевал его – перьями, даже без трафарета, талантливый парень все-таки, жалко, что москвич. Курили всякую дрянь – достать «Приму» считалось большой удачей. В солдатском магазине продавались только северокорейские Chindallae, белые, с голубым маяком, и Kumsudae, с желтой птичкой на пачке. Их еще называли портянками Хо Ши Мина. Зверская гадость. Просто небывалая. Оружие массового поражения. И все равно – курили, взатыг, взухлеб, и даже не кашляли, молодые, здоровые, голые по пояс веселые долбецы. Пушечное мясо. Ржали, скаля белые зубы. Как большие, как взрослые, рисуясь, сплевывали в пыль. Огарев чуть пригнулся, принимая от товарища крошечный спичечный огонек, с удовольствием втягивая ноздрями свежий серный запах, он всегда любил спички, вкусно, и грызть, кстати, тоже – так что неожиданный окрик «лежать» застал его в самый неудобный расплох. Обе руки заняты (прикрывать огонь), в зубах – незажженная сигарета, спина ссутулена, ноги – черт знает что там было с ногами, Огарев про них забыл, потому что в следующую долю секунды перед носом у него уже были крупные поры пыльного асфальта и неторопливо, вперевалку, преодолевающий их черный муравей. Неподалеку валялась догорающая спичка. А из того места, которое только что загоразивала огаревская стриженная голова, торчала, чуть покачиваясь в щите, саперная лопатка. И лезвие ее, любовно наточенное капитаном Цыбулиным, аккуратно рассекло букву «о» в слове «Родина» – словно кто-то вдруг произнес его с иностранным акцентом.

Остальные солдаты стояли, обомлев, как будто играли с ротным в «Море волнуется – раз». На плацу лежал один Огарев.

Понял теперь? – спросил Цыбулин, без усилия выдернув из щита лопатку. Огарев, медленно, как во сне, поднимаясь, кивнул. Муравей все еще полз.

Спичка все еще догорала, корчась. Много лет так будет. Много-много лет.

Я же говорю, отличный станешь офицер, присудил ротный удовлетворенно и спрятал лопатку. Ярости в тебе только маловато.

Вот это он зря.

Ярости в Огареве было хоть отбавляй.

3 июля 1989 года. Понедельник. Полдень. Двадцатый век. Жара. Как Огарев любил Стругацких, даже «Стажеров» их невозможных! Все равно любил. Читать. Лежа, сидя, стоя. За столом. В туалете. Ты выйдешь, наконец, или нет? Веревку, что ли, проглотил?! В троллейбусе, висая на поручне. В метро, спиной к дрожащей, стремительной стене. Вообще читать – значило жить.

В тайге вдруг пальнули – не очень далеко, гулко. Ничего удивительного, местные промыслили тайгой, когда никакого Красноярска-26 еще в помине не было, тут охотились все, включая пацанов, едва переросших двустволку, – браконьерствовали по-тихому, конечно. Но ведь жрать-то что-то надо. Особенно в 1989 году – СССР разваливался, бессильно оседал в грязь, безобразный, жалкий, как старик, пьяный, потерявший шапку, жену, совесть, облик человеческий, но все еще живой, живой почему-то. Шуршали вокруг, разбегаясь, республики, каждая со своим вороватым суверенитетом в зубах, в «Известиях» впервые опубликовали частную коммерческую рекламу, в стране бастовали, объявляли забастовки, все трещало по швам – Огарев ничего не замечал. Выходили книги, книги, книги. Репринты, архивы, прижизненные, никогда прежде не публиковавшиеся, свеженькие, теплые, только что из письменного стола.

Читать было даже интересней, чем жить.

В увольнительную Огарев оторвал в книжном «Мастера и Маргариту» Булгакова, нес, прижимая к твердому молодому животу, обмирая от радости, будто ребеночка из роддома, да что там – будто выстраданную в очереди заветную водку. Дежурный по части старший лейтенант Злотников глянул на обложку, крикнул – и сорвался в самоволку, родная душа, чокнутый советский читатель, благородный дон, он сам стал потом писателем-фантастом, довольно даже

известным, и всякий раз, встречаясь глазами с его томом на магазинной полке, Огарев улыбался и вспоминал Красноярск-26, улицу Школьную, разбитый асфальт, теплый переплет, Коровьева, Бегемота.

Единственное, что может спасти смертельно раненного кота, – это глоток бензина...

Он ржал ночью в казарме так, что его чуть не отлупили. Спасибо Станкусу, который, едва продрал глаза, рывкнул, так что все только порскнули, как тараканы, по углам, здоровенный был литовец, что твоя гора, очень уважал Огарева, считал его отчего-то своим, деревенским, хуторским, несмотря на очевидную бредовость этого искреннего убеждения. И таким же своим считали Огарева поляки, тоже литовские, со Станкусом, наоборот, глухо враждовавшие – какое-то там не поделили они сало, не могли простить друг другу какую-то стародавнюю кровь.

Все считали Огарева своим. Кроме него самого.

Надо было, конечно, остаться в армии. Сейчас бы уже выслужился до крепкого майора, сколотил заговор и вычистил бы всю эту нечисть к едрене фене. Ну, хотя бы попытался. Умер бы героем, расстрельным, дурным, стоял бы, словно в хорошей детской книжке, у кирпичной стены, грыз горькую былку, смеялся, как мужчина, как Николай Гумилев, нет, шел бы коридором, как во взрослом страшном кино, мимо намертво замкнутых дверей, мимо, читатель, мимо, навстречу заветной камере – ляг, шаг к стене, шаг внутрь, выстрел в затылок. Кровь, уходящая бетонным желобом прямо к Богу.

Или, что вернее, спился бы давно от отчаяния, от стыда, от скуки, в дальнем гарнизоне.

Все что угодно – только не то, что сейчас.

Выстрел грохнул еще раз. Чуть ближе. Он был какой-то странный, будто ненастоящий, и Огарев снова не испугался, ну, охотятся, может, из мелкашки голубей решили набить к обеду, есть же тут голуби, в конце концов? Солдатики, например, при случае жрали змей – ничего, даже вкусные. Правда, патроны на них никто не тратил. Это была первая ошибка – не жрать змей, конечно. А не подумать про понедельник. Местные охотились только по выходным. Это было

недолгое время пьянства и свободы. С понедельника по пятницу они, как и положено добропорядочным гражданам, впрягались в унылую узду, чтобы шаг за шагом тянуть свою до отказа груженную жизнь по направлению к неминуемой смерти.

3 июля был понедельник. Понедельник. Но в армии у Огарева все дни были понедельниками. Абсолютно все неразличимые дни.

Он прошел еще десяток шагов, сапоги вкусно хрустели по гравию, круглый вычислительный центр остался сзади и слева, еще метров триста – и он по едва заметной дуге завернет за АФУ и пойдет уже навстречу караулке. Скоро точка связи, смешная, в сущности, штука – столбик, торчащий из земли. Нужно будет достать из сумки телефонную трубку с вилкой, торчащей прямо из черной эбонитовой задницы. Трубка втыкалась в розетку, караульный бодро рапортовал, что точка связи такая-то, все чисто, полет нормальный. Неподалеку от точки связи высился бункер – на самом деле небольшой, по пояс примерно, окопчик, из которого предлагалось отстреливаться от вероятного противника, если он вдруг окажется не только вероятным, но и очевидным.

Огарев достал из сумки трубку, приладил к столбику, дождался щелчка. Пахло горячей смолой. Воздух был звонкий и золотой от жара. Курить хотелось просто отчаянно. Точка связи четвертая, начал он лениво, но оператор перебил – четвертый «Радан», в ружье! Огарев сплюнул. Бежать очень не хотелось. Наверняка всего-навсего сработала «Сосна». В караулке зазвенела сигнализация – противно, надсадно, замигала перед носом у оператора лампочка на пульте. Станкус, одуревший от скуки, уронивший тяжелую башку на стол, должно быть, даже не проснулся. Повторите, попросил Огарев, нисколько не беспокоясь. «Сосна» срабатывала часто – от ветра, от сильного дождя, хрен знает от чего. От старости и скуки. Они привыкли к этому. Сигнализация никогда ничего не означала. Плохое могло случиться с кем угодно, кроме них, девятнадцатилетних охламонов, бестолковых защитников своей Родины, которая больше не тянула быть великой. Это была ошибка номер два. Можно не верить в противника. Даже в смерть. Но никогда нельзя недооценивать Бога.

Четвертый «Радан», в ружье! – рявкнул оператор еще раз, уже пободрее, судя по голосу, они со Станкусом дрыхли там на пару. Жарко. Огарев доплелся бы по своей тропе наряда до караулки и тоже блаженно задрых. Он поправил на плече автомат и прибавил шаг. Что-то было не так. Что-то ворочалось в нагретой голове, что-то неправильное, цепляло зубчиком, как будто мешало. «Радан»,

вдруг понял он. Оператор сказал – «Радиан». Значит, «Сосна» уже звенела. Значит, это не ветер. Вообще никакого ветра нету, черт подери!

Огарев сорвал с плеча автомат и побежал. Это была третья и последняя ошибка. Последняя из вообще отпущенных ему в этой жизни. Если бы автомат не был у него в руках. Лишние десять секунд. Может, пять. Если бы. Если. Бы. Где-то далеко, с другой стороны, топая сапогами, бежал от караулки Станкус.

Огарев добежал первый.

Но еще раньше он увидел человека. Он его увидел. Высокого, сидящего на корточках под «Радианом» – Огареву показалось на мгновение, что человек совсем черный и гладкий, как будто тюлень или боевой пловец, это было глупо и почему-то смешно – сразу десяток книг прошелестел в голове быстрыми страницами, все шпионские романы, все подвиги разведчиков, все человеки-амфибии и почему-то даже мокрый, облепленный тиной Дуремар. Нож на шее Маугли, нож на поясе Ихтиандра. Борщ, капнувший с забытой ложки на раскрытую страницу. Не читай за столом, сколько раз можно говорить, урод!

Человек распрямился.

Хрен знает, как он вообще продрался через все препоны.

Стой, назад! – заорал Огарев.

Человек не послушался – шагнул навстречу, как-то странно, балансируя и расставив руки, точно шел не по земле, а по канату, натянутому над замершими зеваками, нелепый Тибул, черный гимнаст, пытающийся спастись с площади Звезды через люк.

Стой, стрелять буду!

Человек взмахнул руками еще раз – и Огарев увидел пистолет.

Сразу стало очень тихо.

Огарев беззвучно щелкнул флажком предохранителя, невесомый, как будто игрушечный, автомат дернулся, посылая в горячий воздух одиночную пулю, беззвучно бежал Станкус, разинув ужасный, черный рот, совсем близко, очень близко.

Человек шагнул еще раз и сделал странный жест, будто пытался не то прикрыться, не то взлететь, и тут отпущенные ему и Огареву десять секунд наконец-то закончились. Предохранитель прыгнул вниз на еще одну риску, и Огарев коротко, щегольски, четко, как на стрельбах, срезал движущуюся мишень аккуратной, экономной очередью.

Человек упал, сразу. Как будто его и не было.

Огарев, все еще совершенно беззвучный, подошел, едва передвигая огромные, распухшие какие-то сапоги. Автомат в его руках никак не мог успокоиться, все тыкался вперед, как живой, как живой, водил хищным жалом, выбирая, во что бы еще прицелиться.

И тут, снова как у Стругацких – помните? – неожиданно включили солнце.

Свет, звук – все вернулось к Огареву разом, словно целый мир взорвался внутри его головы. 3 июля 1989 года. Полдень. Мале два года, она передвигает по солнечному полу деревянные кубики – самый любимый, страстно обкусанный по краям – с буквой «я». Видишь, Малечка, это – «я». Я. Я. Я. Что за странное слово? Неужели вот тот – это я?

На тропе наряда лежал мальчишка. Лет четырнадцати.

Очередь аккуратно, по диагонали, разрежала его грудную клетку. Почти пополам. Когда Огарев подошел, мальчишка был еще жив, вернее – еще смотрел, хотя вряд ли что-то видел, во всяком случае, точно не Огарева, не подбежавшего наконец Станкуса, теперь Огарев слышал, как Станкус дышит, стоя у него за спиной, – пыхтит, как изношенная паровая машина Черепанова. Мальчишка был в черном спортивном костюме, дешевеньком, хлопчатобумажном, с вечно вздутыми пузырями коленями и грустно обвисшей задницей. Только самые жалкие лохи ходили в школе на физру в таких костюмах.

У Огарева как раз был точно такой.

Неподалеку валялась пустая старенькая ракетница.

Мальчишка издал короткий звук, точно собирался стравить себе на грудь свой последний завтрак – что они ели с мамкой по утрам? Вчерашний ужин? Яишню с салом? Серый хлеб со сливочным маслом и сахарным песком? Но не смог, только дернул горлом, выдавливая на подбородок сгусток темной крови, блин, простонал Станкус, блин, блин, как будто сам давился кровью, а Огарев все смотрел, смотрел, хотя мальчишки уже не было, ничего не было – ни черного коридора, ни света, ни ангелов, ничего. Только орал, поднимая всех в ружье, услышавший стрельбу начальник караула да хотелось курить.

Очень хотелось.

До горькой слюны.

Даже сильнее, чем раньше.

Огарев аккуратно поставил автомат на предохранитель, развернулся и пошел в сторону караулки.

Неделю потом его таскали от командира части к особисту, потом к психологу и снова к особисту, трясли за плечи среди ночи, предлагали валерьянки, водки, дисбат, отпуск домой, снова водки, может, укольчик ему все-таки, суке, товарищ капитан? Или по морде надежней?

Все напрасно.

Огарев был совершенно, совершенно спокоен.

Его даже ни разу не вырвало.

Просто он убил человека.

Ничего не изменилось, нет. По крайней мере внутри Огарева – точно. Он по-прежнему отлично – сообразно возрасту и аппетиту – ел и спал, быстро и четко

отвечал на вопросы, а будучи оставлен наконец в покое, не проявлял решительно никаких признаков душевного расстройствa или хотя бы легкого огорчения и, как и прежде, всему на свете предпочитал книжки. Что читаете, рядовой Огарев? Сочинения графа Льва Николаевича Толстого, вашбродь! В кандалы мерзавца. Запороть до смерти! Атставить. Вольно. Можете курить.

Тем не менее в части вокруг Огарева сам собой образовался опасливый холодок, этакий карантинный спасательный круг, меловая черта, намалеванная перепуганным бурсаком на полу старой церкви. Чур меня, чур! Никакое зло не могло заступить за эту черту, вот только злом неожиданно оказался сам Огарев, стоящий внутри невидимого огненного круга. Весь он был в черной земле. И с ужасом увидел Хома, что лицо было на нем железное... Даже Станкус старался держаться подальше, словно опасаясь чумных миазмов. Даже ротный. Даже он! Безупречно выполненный приказ как будто вычеркнул из числа живых не только нелепого подростка (экспертиза показала, что невинно убиенный был накачан брагой до миндалин, до детских припухших желез), но и самого Огарева. А ведь он просто выполнил команду «лежать». Выполнил как учили. По приказу.

Как это часто бывает в армии и в тюрьме, спасение пришло свыше. Сила одного приказа отменила силу другого. Пока отцы-командиры мучительно соображали, отправить Огарева в незаслуженный отпуск или сразу перевести от греха в другую часть, Верховный Совет СССР разразился постановлением «Об увольнении с действительной военной службы отдельных категорий военнослужащих срочной службы». Всех призванных по язовскому указу студентиков с той же механической срочностью, с которой когда-то забирали, выпнули из армии назад, к мамкиному подолу. В отношении Огарева машина сработала особенно четко. Армия отторгала его, выдавливала – словно занозу из здорового пальца. Хлопотливая работа полиморфно-ядерных лимфоцитов, кислород и галоиды, превращающиеся в перекись водорода и активированный хлор. Высокое чудо рождения гноя. Мы обеззараживаем себя сами, мы это умеем. Хлорка, перекись. Все свое ношу с собой. Заноза выплывает из пальца, края раны смыкаются, соединительная ткань торопливо проштопывает ее по краям. Волшебная дверца снова прячется за нарисованным холстом.

Ты царь. Живи один. Ты нам здесь нах такой не сдался. Даже даром.

Постановление вышло 11 июля 1989 года, а 12 августа Огарев уже стоял у подъезда собственного дома, в никчемных своих, дешевеньких серых брюках, в голубой клетчатой рубашке, спортивная сумка через плечо, потрескавшийся

черствый кожзам. Форма осталась в части. Давай уж по гражданке, Огарев, тебе еще через всю страну в общем вагоне переться. Вэвэшникам теперь не все рады. Сам понимаешь.

Боялись. Его боялись, конечно. Не за него.

Огарев кивнул и на все положенное ему денежное довольствие купил билет на самолет. Мать выбежала, всплеснула руками, заплакала, тот же уныло обвисший халат, та же одутловатая бледность, тихий сырой запах скуки и тоски. Новыми были только лопатки под ладонью Огарева – вывернутые, огромные, твердые, как будто обглоданные уже. Как будто. Как давно он, оказывается, мать не обнимал. Как давно. Еще сильнее похудела, а уж кажется, больше невозможно. Что в стране-то творится, сынок. Не знаешь, что и думать. Заходи, заходи, чего же это мы на пороге...

Потолки и деревья стали низкими. Обои постарели еще сильнее. Отца не было. Как всегда. Хоть в этом ничего не изменилось. Он пришел только поздно вечером, по-деловому пожал Огареву руку, по-деловому же предложил выпить за приезд. Огарев отказался, грубо, как пацан, зря. Вышло еще хуже – будто он не брезгует, а просто трусит. Отцу, впрочем, явно было наплевать на оба варианта. Вечером мать привычно клюнула Огарева в лоб, привычно закрыла за собой дверь в родительскую комнату, прищемив грязноватый свет, слабый, как будто тоже безнадежно усталый. Огарев все так же, как в детстве, стиснул от ярости кулаки, скрипнул под ним пожилой диван, который отец называл – Ленин с нами. Ничего не изменилось. Почему этого никто не замечал? Совсем ничего!

Кроме самого главного.

Вместо того чтобы забрать документы из медицинского, что было бы безусловно правильно, Огарев просто перебрал их с лечебного на педиатрический. Детишек лечить – дело хорошее, одобрила секретарь декана, старушка, желтая и прочная, как височная кость. Мужчин у нас в педиатрии мало, мужчины у нас – на вес золота. Она все сыпала и сыпала свои старческие, сухие, как овечий горох, трюизмы. А Огарев равнодушно смотрел в окно поверх ее головы – пустыми, светлыми, взрослыми глазами. В сущности, он вернулся в ту же точку, из которой ушел, – в ту же комнату, в те же аудитории, в те же, едва-едва, самую малость, поблекшие коридоры. Только факультет был теперь другой да бывшие свои, обогнавшие Огарева на целый год, едва здоровались, важничая. Считали себя большими. Огарев усмехался, затягиваясь очередной сигаретой.

Ему было так же трудно – наверное, даже еще трудней, чем раньше. Просто теперь он точно знал, что должен стать врачом.

Именно врачом. Никем другим.

Лечить детишек, ха.

Огарев окончил институт в 1994 году.

Последние четыре курса – третий, четвертый, пятый, шестой – на одни пятерки. Его отщелкнуло на патанатомии – словно кто-то снял с ресниц паутину, длинную, липкую дрянь, едва ощутимую, но мешающую даже не видеть – просто навести резкость. Унылая зубрежка и такие же унылые, вгоняющие в отчаяние тройки начальных курсов (желание бросить все к чертовой матери, выспаться и устроиться на завод возникало еще не раз и не два) сошли разом, будто подростковые прыщи. Все стало ясно – Огарев вдруг понял, как устроен человеческий организм. Фраза, которая стала потом его фирменной, – давайте разберемся, как это работает, – родилась именно тогда, на лекциях по патологической анатомии.

Читал патанатомию профессор Александр Гаврилович Талалаев (полный тезка знаменитого патанатома сороковых годов, странная причуда судьбы – будто Богу не хватило вдруг деталей на сборку или Он просто на долю мгновения зазевался). Лекции были блестящие – аудитория набивалась битком, и Огарев старался присесть на подлокотник к самой красивой девочке. Им места, разумеется, доставались всегда – помните Генри Миллера? – мир справедлив, и красивая женщина редко ложится спать голодной. Талалаев, артистичный, гладкоголовый, сухой, точный в каждом жесте, ходил перед аудиторией – демонстративно без халата, в темном костюме – подражал своему учителю, великому Ипполиту Васильевичу Давыдовскому. Тот, маленький, совершенно лысый, похожий на нетопыря, выходил к потрясенным медицинским эмбрионам в удушливо-черной тройке, вынимал из кармана увесистую золотую луковицу часов, кричал – ну-с, пожалуй, начнем. Был настоящим богом – только с маленькой буквы. Творец второго состава. Демиург. Благостный ангел смерти.

Запомните, коллеги. Нет патологической физиологии. Есть патологические физиологи.

1887 года рождения, Давыдовский не старел и не менялся всю свою жизнь – и множество поколений врачей вспоминали его лекции, как вспоминают оперные представления великих теноров. С замиранием сердца. С ощущением сотворенного при тебе свежего, теплого, только что выпеченного чуда. Выпивал ежедневно пятьдесят грамм чистого спирта и лег на свой же собственный прозекторский стол в 81 год, все таким же – крепким, лысым, коренастым, бессмертным. Вскрытие показало идеальной чистоты сосуды, филигранную работу эволюции, тщету и тлен всего. Академик, герой Социалистического труда, два ордена Ленина, Ленинская премия, ученики, монографии, Новодевичье кладбище, ушастый бюст возле 23-й больницы. Неоценимый вклад.

Вдовцом сильно за шестьдесят поехал с другом на охоту в Рязанскую область – шел солнечной дорогой, хрустел ароматной хвоей, насвистывал, передразнивая щеглов. Отдыхал от смерти. На подходе к селу молодка затягивала подпругу на пузатой лошадке – высоко упиралась крепкой, дочерна загорелой ногой. Короткое ситцевое платье, телега с громыхливыми бидонами, золотой пот над верхней губой, припухшей, как у ребенка. Оглянулась, посмотрела весело из-под белого платка. Ветерок рванул ее за подол, словно отдернул покров, скрывающий драгоценность: свежую, теплую кожу, женскую, живую, прохладную, как дремлющее в бидонах гладкое молоко. Она была незагорелая под своим простеньким платьем. Совсем-совсем живая.

Юрий Олеша. Зависть. Радость. Жизнь.

Кровь, уходящая хриплым искусственным руслом.

Давыдовский крякнул. Переглянулся с товарищем, хрустящим от времени, сохлым. Ровесник, невзначай позволивший себе постареть.

Подвести вас, дядечки? Спросила доверчиво. Нараспев.

А, пожалуй, женюсь, невпопад ответил Давыдовский. И женился. И еще двадцать без малого лет, в горе и радости. Внуки от первой жены, нянькающие детей от второй. Осень патриарха.

Огарев вздрагивал, словно проснувшись на рассвете от холодка, пробравшегося под смятую простыню. Красивая девочка, теплая, замершая под самым боком,

была забыта – отодвинута на обочину, сброшена со счетов навсегда. Талалаев ходил перед ними – мягко, неторопливо, туда, сюда, подчеркивая каждый поворот быстрым – будто плащом взмахнули – движением мысли. «Не пытайтесь ничего запомнить – все данные все равно безнадежно устареют, когда придет ваше время лечить. Пытайтесь просто понять».

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/stepnova_marina/bezbozhnyy-pereulok

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)